www.LibAid.Ru – Электронная библиотека русской литературы

**М.М. Зощенко**

**ПЕРЕД ВОСХОДОМ СОЛНЦА**

**(повесть)**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эту книгу я задумал очень давно. Сразу после того, как выпустил в свет мою «Возвращенную молодость».

Почти десять лет я собирал материалы для этой новой книги и выжидал спокойного года, чтоб в тиши моего кабинета засесть за работу.

Но этого не случилось.

Напротив. Немецкие бомбы дважды падали вблизи моих материалов. Известкой и кирпичами был засыпан портфель, в котором находились мои рукописи. Уже пламя огня лизало их. И я поражаюсь, как случилось, что они сохранились.

Собранный материал летел со мной на самолете через немецкий фронт из окруженного Ленинграда.

Я взял с собой двадцать тяжелых тетрадей. Чтобы убавить их вес, я оторвал коленкоровые переплеты. И все же они весили около восьми килограммов из двенадцати килограммов багажа, принятого самолетом. И был момент, когда я просто горевал, что взял этот хлам вместо теплых подштанников и лишней пары сапог.

Однако любовь к литературе восторжествовала. Я примирился с моей несчастной участью.

В черном рваном портфеле я привез мои рукописи в Среднюю Азию, в благословенный отныне город Алма-Ата.

Весь год я был занят здесь написанием различных сценариев на темы, нужные в дни Великой Отечественной войны.

Привезенный же материал я держал в деревянной кушетке, на которой спал.

По временам я поднимал верх моей кушетки. Там, на фанерном дне, покоились двадцать моих тетрадей рядом с мешком сухарей, которые я заготовил по ленинградской привычке.

Я перелистывал эти тетради, горько сожалея, что не пришло время приняться за эту работу, столь, казалось, ненужную сейчас, столь отдаленную от войны, от грохота пушек и визга снарядов.

— Ничего, — говорил я сам себе, — тотчас по окончании войны я примусь за эту работу.

Я снова укладывал мои тетради на дно кушетки. И, лежа на ней, прикидывал в своем уме, когда по-моему может закончиться война. Выходило, что не очень скоро. Но когда — вот этого я установить не решался. — Однако почему же не пришло время взяться за эту мою работу? — как-то подумал я. — Ведь мои материалы говорят о торжестве человеческого разума, о науке, о прогрессе сознания! Моя работа опровергает «философию» фашизма, которая говорит, что сознание приносит людям неисчислимые беды, что человеческое счастье в возврате к варварству, к дикости, в отказе от цивилизации.

Ведь об этом более интересно прочитать сейчас, чем когда-либо в дальнейшем.

В августе 1942 года я положил мои рукописи на стол и, не дожидаясь окончания войны, приступил к работе.

I. ПРОЛОГ

За доброе желание к игре

Прощается актеру исполненье.[1]

Десять лет назад я написал мою повесть под названием «Возвращенная молодость».

Это была обыкновенная повесть, из тех, которые во множестве пишутся писателями, но к ней были приложены комментарии — этюды физиологического характера.

Эти этюды объясняли поведение героев повести и давали читателю некоторые сведения по физиологии и психологии человека.

Я не писал «Возвращенную молодость» для людей науки, тем не менее именно они отнеслись к моей работе с особым вниманием. Было много диспутов. Происходили споры. Я услышал много колкостей. Но были сказаны и приветливые слова.

Меня смутило, что ученые так серьезно и горячо со мной спорили. Значит, не я много знаю (подумал я), а наука, видимо, не в достаточной мере коснулась тех вопросов, какие я, в силу своей неопытности, имел смелость затронуть.

Так или иначе ученые разговаривали со мной почти как с равным. И я даже стал получать повестки на заседания в Институт мозга. А Иван Петрович Павлов пригласил меня на свои «среды».

Но я, повторяю, не писал свое сочинение для науки. Это было литературное произведение, и научный материал был только лишь составной частью.

Меня всегда поражало: художник, прежде чем рисовать человеческое тело, должен в обязательном порядке изучить анатомию. Только знание этой науки избавляло художника от ошибок в изображении. А писатель, в ведении которого больше, чем человеческое тело, — его психика, его сознание, — не часто стремится к подобного рода знаниям. Я посчитал своей обязанностью кое-чему поучиться. И, поучившись, поделился этим с читателем.

Таким образом возникла «Возвращенная молодость».

Сейчас, когда прошло десять лет, я отлично вижу дефекты моей книги: она была неполной и однобокой. И, вероятно, за это меня следовало больше бранить, чем меня бранили.

Осенью 1934 года я познакомился с одним замечательным физиологом (А. Д. Сперанским).[2]

Когда речь зашла о моей работе, этот физиолог сказал:

— Я предпочитаю ваши обычные рассказы. Но я признаю, что то, о чем вы пишете, следует писать. Изучать сознание есть дело не только ученого. Я подозреваю, что пока еще это в большей степени дело писателя, чем ученого. Я физиолог и потому не боюсь это сказать.

Я ответил ему:

— Я тоже так думаю. Область сознания, область высшей психической деятельности больше принадлежит нам, чем вам. Поведение человека можно и должно изучать с помощью собаки и ланцета. Однако у человека (и у собаки) иногда возникают «фантазии», которые необычайным образом меняют силу ощущения даже при одном и том же раздражителе. И тут иной раз нужен «разговор с собакой» для того, чтобы разобраться во всей сложности ее фантазии. А «разговор с собакой» — это уже целиком наша область.

Улыбнувшись, ученый сказал:

— Вы отчасти правы. Соотношение часто не одинаково между силой раздражения и ответом, тем более в сфере ощущения. Но если вы претендуете на эту область, то именно здесь вы и встретитесь с нами.

Прошло несколько лет после этого разговора. Узнав, что я подготовляю новую книгу, физиолог попросил меня рассказать об этой работе.

Я сказал:

— Вкратце — это книга о том, как я избавился от многих ненужных огорчений и стал счастливым.

— Это будет трактат или роман?

— Это будет литературное произведение. Наука войдет в него, как иной раз в роман входит история.

— Снова будут комментарии?

— Нет. Это будет нечто целое. Подобно тому, как пушка и снаряд могут быть одним целым.

— Стало быть, эта работа будет о вас?

— Полкниги будет занято моей особой. Не скрою от вас — меня это весьма смущает.

— Вы будете рассказывать о своей жизни?

— Нет. Хуже. Я буду говорить о вещах, о которых не совсем принято говорить в романах. Меня утешает то, что речь будет идти о моих молодых годах. Это все равно что говорить об умершем.

— До какого же возраста вы берете себя в вашу книгу?

— Примерно до тридцати лет.

— Может быть, есть резон прикинуть еще лет пятнадцать? Тогда книга будет полней — о всей вашей жизни.

— Нет, — сказал я. — С тридцати лет я стал совсем другим человеком — уже негодным в объекты моего сочинения.

— Разве произошла такая перемена?

— Это даже нельзя назвать переменой. Возникла совсем иная жизнь, вовсе не похожая на то, что было.

— Но каким образом? Это был психоанализ? Фрейд?[3]

— Вовсе нет. Это был Павлов. Я пользовался его принципом. Это была его идея.

— А что сами вы сделали?

— Я сделал в сущности простую вещь: я убрал то, что мне мешало, — неверные условные рефлексы, ошибочно возникшие в моем сознании. Я уничтожил ложную связь между ними. Я разорвал «временые связи», как назвал их Павлов.

— Каким образом?

В то время я не полностью продумал мои материалы и поэтому затруднился ответить на этот вопрос. Но о принципе рассказал. Правда, весьма туманно.

Задумавшись, ученый ответил:

— Пишите. Только ничего не обещайте людям.

Я сказал:

— Я буду осторожен. Я пообещаю только то, что получил сам. И только тем людям, которые имеют свойства, близкие к моим.

Рассмеявшись, ученый сказал:

— Это немного. И это правильно. Философия Толстого, например, была полезна только ему, и никому больше.

Я ответил:

— Философия Толстого была религия, а не наука. Это была вера, которая ему помогла. Я же далек от религии. Я говорю не о вере и не о философской системе. Я говорю о железных формулах, проверенных великим ученым. Моя же роль скромна в этом деле: я на практике человеческой жизни проверил эти формулы и соединил то, что, казалось, не соединялось.

Я расстался с ученым и с тех пор больше его не видел. Вероятно, он решил, что я забросил мою книгу, не справившись с ней.

Но я, как уже доложено вам, выжидал спокойного года.

Этого не случилось. Очень жаль. Под грохот пушек я пишу значительно хуже. Красивость, несомненно, будет снижена. Душевные волнения поколеблют стиль. Тревоги погасят знания. Нервность воспримется как торопливость. В этом усмотрится небрежность к науке, непочтительность к ученому миру…

Ученый!

Где речь неучтивой увидишь мою,

Сотри ее, я позволенье даю.[4]

Пусть, просвещенный читатель простит мои прегрешения.

II. Я: НЕСЧАСТЕН — И НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ

О горе! Бежать от блеска солнца

И услады искать в тюрьме

При свете ночника…[5]

Когда, я вспоминаю свои молодые годы, я поражаюсь, как много было у меня горя, ненужных тревог и тоски.

Самые чудесные юные годы были выкрашены черной краской.

В детском возрасте я ничего подобного не испытывал.

Но уже первые шаги молодого человека омрачились этой удивительной тоской, которой я не знаю сравнения.

Я стремился к людям, меня радовала жизнь, я искал друзей, любви, счастливых встреч… Но я ни в чем этом не находил себе утешения. Все тускнело в моих руках. Хандра преследовала меня на каждом шагу.

Я был несчастен, не зная почему.

Но мне было восемнадцать лет, и я нашел объяснение.

«Мир ужасен, — подумал я. — Люди пошлы. Их поступки комичны. Я не баран из этого стада».

Над письменным столом я повесил четверостишие из Софокла:

Высший дар нерожденным быть,

Если ж свет ты увидел дня —

О, обратной стезей скорей

В лоно вернись родное небытия.[6]

Конечно, я знал, что бывают иные взгляды — радостные, даже восторженные. Но я не уважал людей, которые были способны плясать под грубую и пошлую музыку жизни. Такие люди казались мне на уровне дикарей и животных.

Все, что я видел вокруг себя, укрепляло мое воззрение.

Поэты писали грустные стихи и гордились своей тоской.

«Пришла тоска — моя владычица, моя седая госпожа»,[7] — бубнил я какие-то строчки, не помню какого автора.

Мои любимые философы почтительно отзывались о меланхолии. «Меланхолики обладают чувством возвышенного»,[8] — писал Кант. А Аристотель считал, что «меланхолический склад души помогает глубокомыслию и сопровождает гения».[9]

Но не только поэты и философы подбрасывали дрова в мой тусклый костер. Удивительно сказать, но в мое время грусть считалась признаком мыслящего человека. В моей среде уважались люди задумчивые, меланхоличные и даже как бы отрешенные от жизни.[10]

Короче говоря, я стал считать, что пессимистический взгляд на жизнь есть единственный взгляд человека мыслящего, утонченного, рожденного в дворянской среде, из которой и я был родом.

Значит, меланхолия, думал я, есть мое нормальное состояние, а тоска и некоторое отвращение к жизни — свойство моего ума. И, видимо. не только моего ума. Видимо — всякого ума, всякого сознания, которое стремится быть выше сознания животного.

Очень печально, если это так. Но это, вероятно, так. В природе побеждают грубые ткани. Торжествуют грубые чувства, примитивнее мысли. Все, что истончилось, — погибает.

Так думал я в свои восемнадцать лет. И я не скрою от вас, что я так думал и значительно позже.

Но я ошибался. И теперь счастлив сообщить вам об этой моей ужасной ошибке.

Эта ошибка мне тогда чуть не стоила жизни. Я хотел умереть, так как не видел иного исхода.

Осенью 1914 года началась мировая война, и я, бросив университет, ушел в армию, чтоб на фронте с достоинством умереть за свою страну, за свою родину.

Однако на войне я почти перестал испытывать тоску. Она бывала по временам. Но вскоре проходила. И я на войне впервые почувствовал себя почти счастливым.

Я подумал: отчего это так? И пришел к мысли, что здесь я нашел прекрасных товарищей и вот почему перестал хандрить. Это было логично.

Я служил в Мингрельском полку Кавказской гренадерской дивизии. Мы очень дружно жили. И солдаты, и офицеры. Впрочем, может быть, тогда мне так казалось.

В девятнадцать лет я был уже поручиком. В двадцать лет — имел пять орденов и был представлен в капитаны.

Но это не означало, что я был герой. Это означало, что два года подряд я был на позициях. Я участвовал во многих боях, был ранен, отравлен газами. Испортил сердце. Тем не менее радостное мое состояние почти не исчезало.

В начале революции я вернулся в Петроград. Я не испытывал никакой тоски по прошлому. Напротив, я хотел увидеть новую Россию, не такую печальную, как я знал. Я хотел, чтобы вокруг меня были здоровые, цветущие люди, а не такие, как я сам, — склонные к хандре, меланхолии и грусти.

Никаких так называемых «социальных расхождений» я не испытывал. Тем не менее я стал по-прежнему испытывать тоску.

Я пробовал менять города и профессии. Я хотел убежать от этой моей ужасной тоски. Я чувствовал, что она меня погубит.

Я уехал в Архангельск. Потом на Ледовитый океан — в Мезень. Потом вернулся в Петроград. Уехал в Новгород, во Псков. Затем в Смоленскую губернию, в город Касный. Снова вернулся в Петроград…

Хандра следовала за мной по пятам.

За три года я переменил двенадцать городов и десять профессий.

Я был милиционером, счетоводом, сапожником, инструктором по птицеводству, телефонистом пограничной охраны, агентом уголовного розыска, секретарем суда, делопроизводителем.

Это было не твердое шествие по жизни, это было — замешательство.

Полгода я снова провел на фронте в Красной Армии — под Нарвой и Ямбургом.

Но сердце было испорчено газами, и я должен был подумать о новой профессии.

В 1921 году я стал писать рассказы.

Моя жизнь сильно изменилась оттого, что я стал писателем. Но хандра осталась прежней. Впрочем, она все чаще стала посещать меня.

Тогда я обратился к врачам. Кроме хандры, у меня было что-то с сердцем, что-то с желудком и что-то с печенью.

Врачи взялись за меня энергично.

От трех моих болезней они стали меня лечить пилюлями и водой. Главным образом водой — вовнутрь и снаружи.

Хандру же было решено изгонять комбини рованным ударом — сразу со всех четырех сторон, во фланги, в тыл и в лоб — путешествиями, морскими купаниями, душем Шарко и развлечениями, столь нужными в моем молодом возрасте.

Два раза в год я стал выезжать на курорты — в Ялту, в Кисловодск, в Сочи и в другие благословенные места.

В Сочи я познакомился с одним человеком, у которого тоска была значительно больше моей. Минимум два раза в год его вынимали из петли, в которую он влезал, оттого что его мучила беспричинная тоска.

С чувством величайшего почтения я стал беседовать с этим человеком. Я предполагал увидеть мудрость, ум, переполненный знаниями, и скорбную улыбку гения, который должен уживаться на нашей бренной земле.

Ничего подобного я не увидел.

Это был недалекий человек, необразованный и даже без тени просвещения. За всю свою жизнь он прочитал не более двух книг. И, кроме денег, еды и баб, он ничем другим не интересовался.

Передо мной был самый заурядный человек, с пошлыми мыслями и с тупыми желаниями. Я не сразу даже понял, что это так. Сначала мне показалось, что в комнате накурено или барометр упал — предвещает бурю. Как-то мне было не по себе, когда я с ним разговаривал. Потом смотрю — просто дурак. Просто дубина, с которым больше трех минут нельзя разговаривать.

Моя философская система дала трещину. Я понял, что дело не только в высоком сознании. Но в чем же тогда? Я не знал.

С величайшим смирением я отдался в руки врачей.

За два года я съел полтонны порошков и пилюль.

Я безропотно пил всякую мерзость, от которой меня тошнило.

Я позволил себя колоть, просвечивать и сажать в ванны.

Однако лечение успеха не имело. И даже вскоре дошло до того, что знакомые перестали узнавать меня на улице. Я безумно похудел. Я был как скелет, обтянутый кожей. Все время ужасно мерз. Руки у меня дрожали. А желтизна моей кожи изумляла даже врачей. Они стали подозревать, что у меня ипохондрия в такой степени, когда процедуры излишни. Нужны гипноз и клиника.

Одному из врачей удалось усыпить меня. Усыпив, он стал внушать мне, что я напрасно хандрю и тоскую, что в мире все прекрасно и нет причин для огорчения.

Два дня я чувствовал себя бодрей, потом мне стало значительно хуже, чем раньше.

Я почти перестал выходить из дому. Каждый новый день мне был в тягость.

День приходил, день уходил —

Шли годы — я их не считал,

Я, мнилось, память потерял

О переменах на земле…[11]

Я еле передвигался по улице, задыхаясь от сердечных припадков и от болей в печени.

На курорты я перестал ездить. Вернее, я приезжал и, промаявшись там два-три дня, снова возвращался домой, еще в более страшной тоске, чем приехал.

Тогда я обратился к книгам. Я был молодым писателем. Мне было всего двадцать семь лет. Естественно, что я обратился к моим великим товарищам — к писателям, музыкантам… Я хотел узнать, не было ли чего подобного с ними. Не было ли у них тоски вроде моей. А если было, то по каким причинам это у них возникало, по их мнению. И как они поступали, чтобы этого у них не было.

И тогда я стал выписывать все, что относилось к хандре. Я стал выписывать без особого учета и мотивировок. Однако я старался брать то, что было характерно для человека, то, что повторялось в его жизни, то, что не казалось случайностью, минутным воображением, вспышкой.

Эти выписки поразили мое воображение на несколько лет.

«…Я выхожу из дому, иду на улицу, тоскую и опять возвращаюсь домой. Зачем? Затем, чтоб хандрить…»[12]

(Шопен. Письма, 1830 г.)

«Я не знал, куда деваться от тоски. Я сам не знал, откуда происходит эта тоска…»[13]

(Гоголь — матери, 1837 г.)

«У меня бывают припадки такой хандры, что боюсь, что брошусь в море. Голубчик мой! Очень тошно…»[14]

(Некрасов — Тургеневу, 1857 г.)

«Мне так худо, так страшно безнадежно худо и в теле и в духе, что я не могу жить…»[15]

(Эдгар По — Анни,[16] 1848 г.)

«Я испытываю такую угнетенность духа, какую я раньше еще не испытывал. Я напрасно боролся против влияния этой меланхолии. Я несчастен и не знаю почему…»[17]

(Эдгар По — Кеннэди,[18] 1835 г.)

«В день двадцать раз приходит мне на ум пистолет. И тогда делается при этой мысли легче…»[19]

(Некрасов — Тургеневу, 1857 г.)

«Все мне опротивело. Мне кажется, я бы с наслаждением сейчас повесился, — только гордость мешает…»[20]

(Флобер, 1853 г.)

«Я живу скверно, чувствую себя ужасно. Каждое утро встаю с мыслью: не лучше ли застрелиться…»[21]

(Салтыков-Щедрин — Пантелееву,[22] 1886 г.)

«К этому присоединилась такая тоска, которой нет описания. Я решительно не знал, куда девать себя, к чему прислониться…»[23]

(Гоголь — Погодину,[24] 1840 г.)

«Так все отвратительно в мире, так невыносимо… Скучно жить, говорить, писать…»[25]

(Л. Андреев. Дневник, 1919 г.)

«Чувствую себя усталым, измученным до того, что чуть не плачу с утра до вечера… Раздражают лица друзей… Ежедневные беседы, сон на одной и той же постели, собственный голос, лицо, отражение его в зеркале…»[26]

(Мопассан. Под солнцем, 1881 г.)

«Повеситься или утонуть казалось мне как бы похожим на какое-то лекарство и облегчение».[27]

(Гоголь — Плетневу,[28] 1846 г.)

«Я устал, устал ото всех отношений, все люди меня утомили и все желания. Уйти куда-либо и пустыню или уснуть «последним сном».[29]

(В. Брюсов. Дневник, 1898 г.)

«Я прячу веревку, чтоб не повеситься на перекладине в моей комнате, вечером, когда остаюсь один. Я не хожу больше на охоту с ружьем, чтоб не подвергнуться искушению застрелиться… Мне кажется, что жизнь моя была глупым фарсом».[30]

(Правда о моем отце, Л. Н. Толстой, 1878 г. — Л. Л. Толстой.)

Целую тетрадь я заполнил подобными выписками. Они меня поразили, даже потрясли. Ведь и же не брал людей, у которых только что случилось горе, несчастье, смерть. Я взял то состояние, которое повторялось. Я взял тех людей, из которых многие сами сказали, что они не понимают, откуда у них это состояние.

Я был потрясен, озадачен. Что за страдание, которому подвержены люди? Откуда оно берется? И как с ним бороться, какими средствами?

Может быть, это страдание возникает от неустройства жизни, от социальных огорчений, от мировых вопросов? Может быть, это создает почву для такой тоски?

Да, это так. Но тут я вспомнил слова Чернышевского:

«Не от мировых вопросов люди топятся, стреляются и сходят с ума».[31]

Эти слова меня еще более смутили.

Я не мог найти никакого решения. Я не понимал.

Может быть, все-таки (снова подумал я) это та мировая скорбь, которой подвержены великие люди в силу их высокого сознания?

Нет! Наряду с этими великими людьми, которых я перечислил, я увидел не менее великих людей, которые не испытывали никакой тоски, хотя их сознание было столь же высоким. И даже этих людей было значительно больше.

На вечере, посвященном Шопену, исполняли его Второй концерт для фортепьяно с оркестром.

Я сидел в последних рядах, утомленный, измученный.

Но Второй концерт прогнал мою меланхолию. Мощные, мужественные звуки наполнили зал.

Радость, борьба, необычайная сила и даже ликование звучали в третьей части концерта.

Откуда же такая огромная сила у этого слабого человека, у этого гениального музыканта, печальную жизнь которого я так теперь хорошо знал? — подумал я. Откуда же у него такая радость, такой восторг? Значит, все это у него было? И только было сковано? Чем?

Тут я подумал о своих рассказах, которые заставляли людей смеяться. Я подумал о смехе, который был в моих книгах, но которого не было в моем сердце.

Не скрою от вас: я испугался, когда мне вдруг пришла мысль, что надо найти причину — отчего скованы мои силы и почему мне так невесело в жизни; и почему бывают такие люди, как я, — склонные к меланхолии и беспричинной тоске.

Осенью 1926 года я заставил себя уехать в Ялту. И заставил себя пробыть там четыре недели.

Десять дней я пролежал в номере гостиницы. Затем стал выходить на прогулку. Я ходил в горы.

А иногда часами сидел на берегу моря, радуясь, что мне лучше, что мне почти хорошо.

Я очень поправился за месяц. На душе у меня стало спокойно, даже весело.

Чтоб еще более укрепить мое здоровье, я решил продолжить отдых. Я взял билет на теплоход, чтобы доехать до Батума. Из Батума я хотел ехать и Москву прямым поездом.

Я взял отдельную каюту. И в чудесном настроении уехал из Ялты.

Море было тихое, безмятежное. И я весь день просидел на палубе, любуясь берегом Крыма и морем, которое я так любил и ради которого я обычно приезжал в Ялту.

Утром, чуть свет, я снова был на палубе.

Вставало изумительное утро.

Я сидел в шезлонге, наслаждаясь своим прекрасным состоянием. Мысли у меня были самые счастливые, даже веселые. Я думал о своем путешествии, о Москве, о друзьях, которых там встречу. О том, что тоска моя теперь позади. И пусть она будет загадкой, только чтоб ее больше не было.

Было раннее утро. Задумчиво я глядел на легкую рябь воды, на блики солнца, на чаек, которые с омерзительным криком садились на воду.

И вдруг в одно мгновение я почувствовал себя плохо. Это была не только тоска. Это было волнение, трепет, почти страх. Я еле мог встать с шезлонга. Я еле дошел до каюты. Я два часа лежал на койке не двигаясь. И снова возникла тоска в такой степени, какой я до сих пор не испытывал.

И пробовал бороться с этим. Я вышел на палубу. Стал прислушиваться к разговорам людей. Я хотел отвлечься. Но мне не удавалось.

Показалось, что я не должен и не могу больше продолжать путешествие.

Я еле дождался Туапсе. И сошел на берег, с тем чтоб через несколько дней продолжить мой путь. Меня трепала нервная лихорадка.

На линейке я доехал до гостиницы. И там слег. Усилием воли, только через неделю, я заставил себя собраться в дорогу.

Дорога меня отвлекла и рассеяла. Я стал чувствовать себя лучше. Ужасная тоска исчезла.

Путь был далекий, и я стал думать о своей несчастной болезни, которая способна исчезать так же быстро, как и возникнуть. Почему? И какие были причины?

Или причин не было?

Как будто бы никаких причин не было. Должно быть, просто «слабость нервов», излишняя «чувствительность». Должно быть, это обычно и колеблет меня, как часовой маятник.

Я стал думать: родился ли я таким слабым и чувствительным или в моей жизни что-нибудь случилось такое, что повредило мои нервы, испортило их и сделало меня несчастной пылинкой, которую гонит и мотает любой ветер?

И вдруг мне показалось, что я не мог родиться таким несчастным, таким беззащитным. Я мог родиться слабым, золотушным, я мог родиться с одной рукой, с одним глазом, без уха. Но родиться, чтоб хандрить, и хандрить без причины — оттого, что мир кажется пошлым! Но я же не марсианин. Я дитя своей земли. Я должен, как и любое животное, испытывать восторг от существования. Испытывать счастье, если все хорошо. И бороться, если плохо. Но хандрить?! Когда даже насекомое, которому дано всего четыре часа жизни, ликует на солнце! Нет, я не мог родиться таким уродом.

И вдруг я понял ясно, что причина моих несчастий кроется в моей жизни. Нет сомнения — что-то случилось, что-то произошло такое, что подействовало на меня угнетающим образом.

Но что? И когда случилось? И как искать это несчастное происшествие? Как найти эту причину моей тоски?

Тогда я подумал: надо вспомнить мою жизнь. И я стал лихорадочно вспоминать. Но сразу понял, что из этого ничего не выйдет, если не внести какую-нибудь систему в мои воспоминания.

Нет нужды все вспоминать, подумал я. Достаточно вспомнить только самое сильное, самое яркое. Достаточно вспомнить только то, что было сиязано с душевным волнением. Только тут и могла лежать разгадка.

И тогда я стал вспоминать наиболее яркие картины, оставшиеся в моей памяти. И увидел, что память сохранила их с необычайной точностью. Сохранились мелочи, детали, цвет, даже запах.

Душевное волнение, как свет магния, осветило то, что произошло. Это были моментальные фотографии, оставшиеся на память в моем мозгу.

С необычайным волнением я стал изучать эти фотографии. И увидел, что они меня волнуют больше, чем даже желание найти причину моих несчастий.

III. ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ

Жизнь каждого все то же повторяет,

Что до него и прежде совершалось.

И человек, в прошедшее вникая,

Предсказывать довольно верно может

Ход будущих событий…[32]

Итак, я решил вспомнить мою жизнь, чтоб найти причину моих несчастий.

Я решил найти событие или ряд событий, которые подействовали на меня угнетающе и сделали меня несчастной пылинкой, уносимой любым дуновением ветра.

Для этого я решил вспомнить только самые яркие сцены из моей жизни, только сцены, связанные с большим душевным волнением, правильно рассчитав, что только тут и лежит разгадка.

Однако нет нужды вспоминать детские годы, подумал я. Какие там могут быть особые душевные волнения у мальчишки. Подумаешь, великие дела! Потерял три копейки. Ребята побили. Штаны разорвал. Украли ходули. Учитель единицу поставил… Вот вам и все потрясения детского возраста. Лучше я вспомню, подумал я, сцены из моей сознательной жизни. Тем более что я захворал не в детские годы, а уже будучи взрослым. Начну лет с шестнадцати, подумал я.

И тогда я стал вспоминать наиболее яркие сцены, начиная с шестнадцати лет.

1912–1915

О, сказкой ставшая воскреснувшая быль!

О, крылья бабочки, с которых стерлась пыль![33]

Я ЗАНЯТ

Двор. Я играю в футбол. Мне уже наскучило играть, но я играю, украдкой поглядывая на окно второго этажа. Мое сердце сжимается от тоски.

Там живет Тата Т. Она взрослая. Ей двадцать три года. У нее старый муж. Ему сорок лет. И мы — гимназисты — всегда подтруниваем над ним, когда он, немного сутулый, возвращается со службы.

И вот открывается окно. Тата Т. поправляет свою прическу, потягиваясь и зевая.

Увидев меня, она улыбается.

Ах, она очень хороша. Она похожа на молодую тигрицу из зоологического сада — такие же яркие, сияющие, ослепительные краски. Я почти не могу на нее смотреть.

Улыбаясь, Тата Т. говорит мне:

— Мишенька, зайдите ко мне на минутку.

Мое сердце колотится от счастья, но, не поднимая глаз, я отвечаю:

— Вы же видите — я занят. Играю в футбол.

— Тогда подставьте свою фуражку. Я вам что-то брошу.

Я подставляю свою гимназическую фуражку. И Тата Т. бросает в нее маленький сверток, перенизанный ленточкой. Это шоколад.

Я прячу шоколад в карман и продолжаю играть.

Дома я съедаю шоколад. И ленточку, приложив на минуту к щеке, прячу в стол.

ПИСЬМО

Столовая. Коричневые обои. Хрустальная солонка в виде перевернутой пирамиды.

За столом сестры и мать.

Я задержался в гимназии, опоздал, и они начали обедать без меня.

Переглядываясь между собой, сестры тихонько смеются.

Я сажусь на свое место. У моего прибора письмо.

Длинный конверт сиреневого цвета. Необычайно душистый.

Дрожащими руками я разрываю конверт. И вынимаю еще более душистый листок. Запах от листка так силен, что сестры, не сдерживаясь, прыскают от смеха.

Нахмурившись, я читаю. Буквы прыгают перед моими глазами.

«О, как я счастлива, что с вами познакомилась…» — запоминаю я одну фразу и мысленно ее твержу.

Встречаюсь со смеющимися глазами матери.

— От кого? — спрашивает она.

— От Нади, — сухо, почти сердито отвечаю я.

Сестры веселятся еще больше.

— Не понимаю, — говорит старшая сестра, — жить в одном доме, видеться каждый день и еще при этом писать письма. Смешно. Глупо.

Я грозно гляжу на сестру. Молча глотаю суп и ем хлеб, пропитанный запахом духов.

СВИДАНИЕ

Петербург. Каменноостровский проспект. Памятник «Стерегущему». Два матроса у открытого кингстона. Бронзовая вода льется в трюм.

Не отрываясь я смотрю на бронзовых матросов и на бронзовый поток воды. Мне нравится этот памятник.

Я люблю смотреть на эту трагическую сцену потопления корабля.

Рядом со мной на скамье гимназистка Надя В. Нам обоим по шестнадцать лет.

Надя говорит:

— Вообще я полюбила вас напрасно. Решительно все девочки не советовали мне этого делать…

— Но почему же? — спрашиваю я, оторвавшись от памятника.

— Потому что мне всегда нравились веселые, остроумные мужчины… Вы же способны молча сидеть полчаса и больше.

Я отвечаю:

— Я не считаю достоинством говорить слова, которые до меня произносили десятки тысяч людей.

— В таком случае, — говорит Надя, — вы должны меня поцеловать.

Оглядываясь, я говорю:

— Здесь могут увидеть нас.

— Тогда пойдемте в кино. Мы идем в кино «Молния» и там два часа целуемся.

С ПОДЛИННЫМ ВЕРНО

Я выхожу из гимназии и встречаю реалиста Сережу К. Это белобрысый, высокий, уныльй юноша.

Нервно покусывая губы, он мне говорит:

— Вчера я окончательно расстался с Валькой П. И можешь себе представить — она потребовала вернуть все ее письма.

— Надо вернуть, — говорю я.

— Конечно, письма я ей верну, — говорит Сережа, — но я хочу попросить тебя об одном одолжении. Мне надо, чтоб ты заверил эти копии…

— Для чего? — спрашиваю я.

— Ну, мало ли, — говорит Сережа, — потом она еще скажет, что вообще не любила меня… А если будут заверенные копии…

Мы подходим к Сережиному дому. Сережа — сын брандмейстера пожарной части. И поэтому мне интересно к нему зайти.

Сережа кладет на стол три письма и три уже заранее переписанные копии.

Мне не хочется подписывать копии, но Сережа настаивает. Он говорит:

— Мы уже взрослые. Наши детские годы прошли… Я очень прошу тебя подписать.

Не читая, я пишу на каждом листке копий:

«С подлинным верно».

И подписываю свою фамилию.

В знак благодарности Сережа ведет меня во двор и там показывает мне штурмовую лестницу и пожарные шланги, которые сушатся на солнце.

ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ

Я спешу к заутрене. Стою перед зеркалом, затянутый в гимназический мундир. В левой руке у меня белые лайковые перчатки. Правой рукой я поправляю свой изумительный пробор.

Я не особенно доволен своим видом. Очень юн.

В шестнадцать лет можно было бы выглядеть постарше.

Небрежно набросив на плечи шинель, я выхожу на лестницу.

По лестнице поднимается Тата Т. Сегодня она удивительно хороша, в своей короткой меховой жакетке, с муфточкой в руках.

— Вы разве не идете в церковь? — спраши- ваю я.

— Нет, мы встречаем дома, — говорит она, улыбаясь. И, подойдя ко мне ближе, добавляет: — Христос воскресе!.. Мишенька…

— Еще нет двенадцати, — бормочу я. Обвив мою шею руками, Тата Т. целует меня. Это не три пасхальные поцелуя. Это один поцелуй, который продолжается минуту. Я начинаю понимать, что это не христианский поцелуй.

Сначала я испытываю радость, потом удивление, потом смеюсь.

— Что вы смеетесь? — спрашивает она.

— Я не знал, что люди так целуются.

— Не люди, — говорит она, — а мужчины и женщины, дурачок!

Она ласкает рукой мое лицо и целует мои глаза. Потом, услышав, что на ее площадке хлопнула дверь, она поспешно поднимается по лестнице — красивая и таинственная, именно такая, какую я хотел бы всегда любить.

НЕ ВЕРНУСЬ ДОМОЙ

Мы идем в Новую деревню. Нас человек десять. Мы очень взволнованы. Наш товарищ Васька Т. бросил гимназию, ушел из дому и теперь живет самостоятельно, где-то на Черной речке.

Он ушел из восьмого класса гимназии. Даже не дождался выпускных экзаменов. Значит, ему наплевать на все.

Втайне мы восхищены Васькиным поступком. Деревянный дом. Гнилая шаткая лестница. Мы поднимаемся под самую крышу, входим в Васькину комнату.

На железной койке сидит Васька. Ворот его рубахи расстегнут. На столе бутылка водки, хлеб и колбаса. Рядом с Васькой худенькая девушка лет девятнадцати.

— Вот он к ней и ушел, — кто-то шепчет мне. Я гляжу на эту тоненькую девушку. Глаза у нее красные, заплаканные. Не без страха она поглядывает на нас.

Васька лихо разливает водку по стаканам. Я спускаюсь в сад. В саду — старая дама. Это Васькина мама.

Грозя вверх кулаком, мамаша визгливо кричит, и ее выкрики молча слушают какие-то тетушки.

— Это все она виновата, эта девчонка! — кричит мамаша. — Не будь ее, Вася никогда не ушел бы из дому.

В окне появляется Васька.

— Да уйдите вы, мамаша, — говорит он. — Торчите тут целые дни. Кроме суеты, ничего не вносите… Идите, идите. Не вернусь домой, сказал вам.

Скорбно поджав губы, мамаша садится на ступеньки лестницы.

ПЫТКА

Я лежу на операционном столе. Подо мной новая, холодная клеенка. Впереди огромное окно. За окном яркое синее небо.

Я проглотил кристалл сулемы. Этот кристалл у меня был для фотографии. Сейчас мне будут делать промывание желудка.

Врач в белом халате неподвижно стоит у стола.

Сестра подает ему длинную резиновую трубку. Затем, взяв стеклянный кувшин, наполняет его водой. Я с отвращением слежу за этой процедурой. Ну, что они меня будут мучить! Пусть бы я так умер. По крайней мере кончатся все мои огорчения и досады.

Я получил единицу по русскому сочинению. Кроме единицы, под сочинением была надпись красными чернилами: «Чепуха». Правда, сочинение на тургеневскую тему — «Лиза Калитина». Какое мне до нее дело?.. Но все-таки пережить это невозможно.

Врач пропихивает в мою глотку резиновый шланг. Все глубже и глубже входит эта отвратитительная коричневая кишка. Сестра поднимает кувшин с водой. Вода льется в меня. Я задыхаюсь. Извиваюсь в руках врача. Со стоном машу рукой, умоляя прекратить пытку.

— Спокойней, спокойней, молодой человек, — говорит врач. — Ну как вам не совестно… Такое малодушие… по пустякам.

Вода выливается из меня, как из фонтана.

В УНИВЕРСИТЕТЕ

У ворот — полицейский офицер. Кроме входного билета, он требует, чтоб я предъявил студенческий матрикул. Я достаю документы.

— Проходите, — говорит он.

Во дворе — солдаты и городовые с ружьями. Сегодня годовщина смерти Толстого. Я иду по университетскому коридору. Здесь шум, суета, оживление.

По коридору медленно выступает попечитель учебного округа — Прутченко. Он высокий, крупный, краснолицый. На белой груди под вицмундиром маленькие бриллиантовые запонки.

Вокруг попечителя живая изгородь из студентов, — это студенты академической корпорации, «белоподкладочники». Взявшись за руки, они оцепили попечителя и охраняют его от возможных эксцессов. Командует и больше всех суетится какой-то длинновязый, прыщеватый студент в мундире, со шпагой на боку.

Вокруг шум и ад. Кто-то кричит: «По улицам слона водили». Шутки. Смех.

Попечитель медленно идет вперед. Живая изгородь почтительно движется вместе с ним.

Появляется студент. Он мал ростом. Некрасивый. Но лицо у него удивительно умное, энергичное.

Подойдя к «изгороди», он останавливается. Невольно останавливается и изгородь с попечителем.

Подняв руку, студент водворяет тишину. Когда становится тише, студент кричит, отчеканивая каждое слово:

— «У нас в России две напасти: внизу власть тьмы, вверху — тьма власти».[34]

Взрыв аплодисментов. Хохот.

Длинновязый студент эффектно хватается за эфес шпаги. Попечитель устало бормочет: «Не надо, оставьте…»

Студент со шпагой кому-то говорит: «Узнайте фамилию этого хама…»

СТОИЛО ЛИ ВЕШАТЬСЯ

Повесился студент Мишка Ф. Оставил записку:

«Никого не винить. Причина — неудачная любовь».

Я немного знал Мишку. Нескладный. Взъерошенный. Небритый. Не очень умный.

Студенты, впрочем, хорошо относились к нему — он был легкий, компанейский человек.

Из почтения к его трагедии решили выпить за его упокой.

Собрались в пивной на Малом проспекте.

Сначала спели «Быстры, как волны, все дни нашей жизни».[35] Затем стали вспоминать о своем товарище. Однако никто не мог вспомнить ничего особенного.

Тогда кто-то вспомнил, как Миша Ф. съел несколько обедов в университетской столовой. Все засмеялись. Стали вспоминать всякие мелочи и чепуху из Мишкиной жизни. Хохот поднялся невероятный.

Давясь от смеха, один из студентов сказал:

— Однажды мы собрались на бал. Я зашел за Мишкой. Руки ему не захотелось мыть. Он торопился. Он сунул пальцы в пудреницу и забелил под ногтями черноту. Раздался взрыв смеха.

Кто-то сказал:

— Теперь понятно, отчего у него была неудачная любовь.

Посмеявшись, снова стали петь «Быстры, как волны…». Причем один из студентов всякий раз вставал и рукой подчеркнуто дирижировал, когда песня доходила до слов:

«Умрешь — похоронят как не жил на свете».

Потом мы пели «Гаудеамус», «Вечерний звон» и «Дирлим-бом-бом».

НА ИМЕНИНАХ

Вечер. Я иду домой. Мне очень грустно.

— Студентик! — слышу я чей-то голос.

Передо мной женщина. Она подкрашена и подпудрена. Под шляпкой с пером я вижу простое скуластое лицо и толстые губы.

Нахмурившись, я хочу уйти, но женщина говорит, сконфуженно улыбаясь:

— Я сегодня именинница… Зайдите ко мне в гости — чай пить.

Я бормочу:

— Извините… Мне некогда…

— Я иду со всеми, кто меня приглашает, — говорит женщина. — Но сегодня я решила справить свои именины… Я решила сама кого-нибудь пригласить. Пожалуйста, не откажитесь…

Мы поднимаемся по темной лестнице, среди кошек. Входим в маленькую комнату.

На столе — самовар, орехи, варенье и крендель.

Мы молча пьем чай. Я не знаю, что мне говорить. И она сконфужена моим молчанием.

— Разве у вас никого нет — друзей, близких?

— Нет, — говорит она, — я приезжая, из Ростова.

Попив чаю, я надеваю пальто, чтоб уйти.

— Неужто я вам так не нравлюсь, что вы даже не хотите остаться у меня? — говорит она.

Мне весело и смешно. Я не чувствую к ней брезгливости. Я целую на прощанье ее толстые губы. И она спрашивает меня:

— Зайдешь еще разок?

Я выхожу не лестницу. Может быть, запомнить ее квартиру? В темноте я считаю, сколько ступенек до ее двери. Но сбиваюсь. Может быть, чиркнуть спичку — взглянуть на номер ее квартиры? Нет, не стоит. Я больше не приду к ней.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Я прохожу по вагонам. В руках у меня щипчики для пробивания железнодорожных билетов.

Мои щипчики высекают полумесяц.

Шикарная ветка Кисловодск — Минеральные Воды обслуживается летом студентами. И вот почему я здесь, на Кавказе. Я приехал сюда на заработок.

Кисловодск. Я выхожу на платформу. У дверей вокзала огромный жандарм, с медалями на груди. Он застыл, как монумент.

Вежливо кланяясь и улыбаясь, подходит ко мне кассир.

— Коллега, — говорит он мне (хотя он не студент), — на пару слов… В другой раз вы не пробивайте щипчиками билеты, а возвращайте мне…

Эти слова он произносит спокойно, улыбаясь, как будто речь идет о погоде. Я растерянно бормочу:

— Зачем?.. Для того чтоб вы их… еще раз продали?..

— Ну да… У меня уже есть договоренность почти со всеми вашими… Доход пополам…

— Мерзавец!.. Вы врете! — бормочу я. — Со всеми?

Кассир пожимает плечами.

— Ну, не со всеми, — говорит он, — но… со многими… А что вас так удивляет? Все так делают… Да разве мог бы я жить на тридцать шесть рублей… Я даже не считаю это преступлением. Нас толкают на это…

Резко повернувшись, я ухожу. Кассир догоняет меня.

— Коллега, — говорит он, — если не хотите — не надо, я не настаиваю… Только не вздумайте кому-нибудь об этом рассказать. Во-первых — никто не поверит. Во-вторых — доказать нельзя. В-третьих — прослывете лжецом, склочником…

Я медленно бреду к дому… Идет дождь…

Я удивлен больше, чем когда-либо в жизни.

ЭЛЬВИРА

Станция Минутка. У меня тихая комната с окнами в сад.

Мое счастье и тишина длятся недолго. В соседнюю комнату въезжает прибывшая из Пензы актриса цирка Эльвира. По паспорту она — Настя Горохова.

Это здоровенная особа, почти неграмотная.

В Пензе у нее был короткий роман с генералом. В настоящее время генерал приехал с супругой на «кислые воды». Эльвира приехала вслед за ним, неизвестно на что рассчитывая.

Все мысли Эльвиры с утра до ночи направлены и сторону несчастного генерала.

Показывая свои руки, которые под куполом цирка выдерживали трех мужчин, Эльвира говорит мне:

— Вообще говоря, я могла бы спокойно его убить. И больше восьми лет мне бы за это не дали… Как вы думаете?

— А собственно, что вы от него хотите? — спрашиваю я ее.

— Как что! — говорит Эльвира. — Я приехала сюда исключительно ради него. Я живу тут почти месяц и, как дура, плачу за все сама. Я хочу, чтоб он хотя бы из приличия оплатил бы мне проезд в оба конца. Я хочу написать ему об этом письмо.

За неграмотностью Эльвиры это письмо пишу я. Я пишу вдохновенно. Мою руку водит надежда, что Эльвира, получив деньги, уедет в Пензу.

Я не помню, что я написал. Я только помню, что, когда прочитал это письмо Эльвире, она сказала: «Да, это крик женской души… И я непременно его убью, если он мне ничего не пришлет после этого».

Мое письмо перевернуло все внутренности генерала. И он с посыльным прислал Эльвире пятьсот рублей. Это были громадные и даже грандиозные деньги по тогдашнему времени.

Эльвира была ошеломлена.

— Имея такие деньги, — сказала она, — просто было бы глупо уехать из Кисловодска.

Она осталась. И осталась с мыслями, что только я причина ее богатства.

Теперь она почти не выходила из моей комнаты.

Хорошо, что вскоре началась мировая война. Я уехал.

1915–1917

Судьба ко мне добрее отнеслась,

Чем к множеству других…[36]

ДВЕНАДЦАТЬ ДНЕЙ

Я еду из Вятки в Казань за пополнением для моего полка. Еду на почтовых лошадях. Иногда сообщения нет. Я еду в кибитке, завернутый в одеяла и в шубы.

Три лошади бегут по снегу. Кругом пустынно. Лютый мороз.

Рядом со мной прапорщик С. Мы вместе с ним едем за пополнением.

Мы едем второй день. Все слова сказаны. Все воспоминания повторены. Нам безумно скучно.

Вытащив из кобуры наган, прапорщик С. стреляет в белые изоляторы на телеграфных столбах.

Меня раздражают эти выстрелы. Я сержусь на прапорщика С. Я грубо ему говорю:

— Прекрати… болван!

Я ожидаю скандала, крика. Но вместо этого я слышу жалобный голос в ответ. Он говорит:

— Прапорщик Зощенко… не надо меня останавливать. Пусть я делаю, что хочу. Я приеду на фронт, и меня убьют.

Я гляжу на его курносый нос, я смотрю в его жалкие голубоватые глаза. Я вспоминаю его лицо почти через тридцать лет. Он действительно был убит на второй день после того, как приехал на позицию.

В ту войну прапорщики жили в среднем не больше двенадцати дней.

СПАТЬ ХОЧЕТСЯ

Мы входим в зал. На окнах малиновые бархатные занавеси. В простенках зеркала в золоченых рамах.

Гремит вальс. Это играет на рояле человек во фраке. У него в петлице астра. Но морда у него — убийцы.

На диванах и в креслах сидят офицеры и дамы. Несколько пар танцует.

Входит пьяный корнет. Поет: «Австрийцы надурачили, войну с Россией начали…»

Все подхватывают песню. Смеются.

Я сажусь на диван. Рядом со мной женщина. Ей лет тридцать. Она толстовата. Черная. Веселая.

Заглядывая в мои глаза, она говорит:

— Потанцуем?

Я сижу мрачный, хмурый. Отрицательно качаю головой.

— Спать хочется? — спрашивает она. — Тогда пойдем ко мне.

Мы идем в ее комнату. В комнате китайский фонарь. Китайские ширмочки. Китайские халаты. Это забавно. Смешно.

Мы ложимся спать.

Уже двенадцать. Глаза мои слипаются. Но я не могу заснуть. Мне нехорошо. Тоскливо, беспокойно. Я томлюсь.

Ей скучно со мной. Она ворочается, вздыхает. Дотрагивается до моего плеча. Говорит:

— Ты не рассердишься, если я ненадолго пойду в зал. Там сейчас играют в лото. Танцуют.

— Пожалуйста, — говорю я.

С благодарностью она меня целует и уходит. Я тотчас засыпаю.

Под утро ее нет, и я снова смыкаю глаза.

Попозже она безмятежно спит, и я, тихонько одевшись, ухожу.

ПЕРВАЯ НОЧЬ

Я вхожу в избу. На столе керосиновая лампа. Офицеры играют в карты. На походной кровати, покуривая трубку, сидит подполковник.

Я здороваюсь.

— Располагайтесь, — говорит подполковник. И, обернувшись к играющим, почти кричит: — Поручик К.! Восемь часов. Вам пора идти на работу.

Лихого вида поручик, красивый, с тонкими усиками, сдавая карты, отвечает:

— Есть, Павел Николаевич… Сейчас… Вот только доиграю.

Я с восхищением гляжу на поручика. Сейчас ему идти «на работу» — в ночь, в темноту, в разведку, в тыл. Может быть, он будет убит, ранен. А он так легко, так весело и шутливо отвечает.

Просматривая какие-то бумаги, подполковник говорит мне:

— Вот отдыхайте, а завтра и вас «на работу» пошлем.

— Есть, — отвечаю я.

Поручик уходит. Офицеры ложатся спать. Тихо. Я прислушиваюсь к далеким ружейным выстрелам. Это моя первая ночь вблизи от фронта. Мне не спится.

Под утро возвращается поручик К. Он грязный, усталый.

Я сочувственно его спрашиваю:

— Не ранены?

Поручик пожимает плечами.

Я говорю:

— Сегодня мне тоже предстоит «работка».

Улыбаясь, поручик говорит:

— Да вы что думаете, что я на боевую операцию ходил? Я с батальоном ходил на работу. Отсюда три километра, в тыл. Мы там делаем вторую линию укрепления.

Мне ужасно неловко, совестно. Я едва не плачу от досады.

Но поручик уже храпит.

НЕРВЫ

Два солдата режут свинью. Свинья визжит так, что нет возможности перенести. Я подхожу ближе.

Один солдат сидиг на свинье. Рука другого, вооруженная ножом, ловко вспарывает брюхо. Белый жир необъятной толщины распластывается на обе стороны.

Визг такой, что в пору заткнуть уши.

— Вы бы ее, братцы, чем-нибудь оглушили, — говорю я. — Чего ж ее так кромсать.

— Нельзя, ваше благородие, — говорит первый солдат, сидящий на свинье. — Не тот вкус будет.

Увидев мою серебряную шашку и вензеля на пикшах, солдат вскакивает. Свинья вырывается.

— Сиди, сиди, — говорю я. — Уж доканчивайте скорей. — Быстро тоже нехорошо, — говорит солдат с ножом. — Крайняя быстрота сало портит.

С сожалением посмотрев на меня, первый солдат говорит:

— Ваше благородие, война! Люди стонут. А вы свинью жалеете.

Сделав финальный жест ножом, второй солдат говорит:

— Нервы у их благородия.

Разговор принимает фамильярный оттенок. Это не полагается. Я хочу уйти, но не ухожу.

Первый солдат говорит:

— В Августовских лесах раздробило мне кость вот в этой руке. Сразу на стол. Полстакана вина. Режут. А я колбасу кушаю.

— И не больно?

— Как не больно. Исключительно больно… Съел колбасу. «Дайте, — говорю, — сыру». Только съел сыр, хирург говорит: «Готово, зашиваем». — «Пожалуйста», — говорю… Вот вам бы, ваше благородие, этого не выдержать.

— Нервы слабые у их благородия, — снова говорит второй солдат.

Я ухожу.

АТАКА

Ровно в двенадцать ночи мы выходим из окопов. Очень темно. В руках у меня наган.

— Тише, тише, — шепчу я, — не гремите котелками.

Но грохот унять невозможно.

Немцы начинают стрелять. Досадно. Значит, они заметили наш маневр.

Под свист и визг пуль мы бежим вперед, чтобы выбить немцев из их траншей.

Поднимается ураганный огонь. Стреляют пулеметы, винтовки. И в дело входит артиллерия.

Вокруг меня падают люди. Я чувствую, что пуля обожгла мою ногу. Но я бегу вперед.

Вот мы уже у самых немецких заграждений, мои гренадеры режут проволоку.

Неистовый пулеметный огонь прекращает нашу работу. Нет возможности поднять руку. Мы лежим неподвижно.

Мы лежим час, а может, два.

Наконец телефонист протягивает мне телефонную трубку. Роворит командир батальона:

— Отступайте на прежние позиции.

Я отдаю приказ по цепи.

Мы ползем назад.

Утром в полковом лазарете мне делают перевязку. Рана незначительная. И не пулей, а осколком снаряда.

Командир полка, князь Макаев, говорит мне:

— Я очень доволен вашей ротой.

— Мы ничего не сделали, ваше сиятельство, — сконфуженно отвечаю я.

— Вы сделали то, что требовалось. Ведь это была демонстрация, а не наступление.

— Ах, это была демонстрация?

— Это была просто демонстрация. Мы должны были отвлечь противника от левого фланга. Именно там и было наступление.

Я чувствую в своем сердце невероятную досаду, но не показываю вида.

В САДУ

Перед балконом дачи — красивая клумба со стеклянным желтым шаром на подставке. Убитых привозят на телегах и складывают на траву возле этой клумбы.

Их складывают, как дрова, друг на друга.

Они лежат желтые и неподвижные, как восковые куклы.

Сняв стеклянный шар с подставки, гренадеры роют братскую могилу.

У крыльца стоят командир полка и штабный офицеры. Приходит полковой священник.

Тихо. Где-то далеко рявкает артиллерия.

Убитых опускают в яму на полотенцах.

Священник ходит вокруг и произносит слова панихиды. Мы держим руки под козырек.

Могилу утрамбовывают ногами. Водружают крест.

Неожиданно приезжает еще подвода с убитыми.

Командир полка говорит:

— Ну, как же так, господа. Надо было бы вместе.

Фельдфебель, приехавший на телеге, рапортует:

— Не всех сразу нашли, ваше сиятельство. Эти были на левом краю, в лощине.

— Что же делать? — говорит командир.

— Разрешите доложить, ваше сиятельство, — говорит фельдфебель, — нехай эти полежат. Может, завтра будет еще. И тогда вместе похороним.

Командир согласен. Убитых относят в сарай. Мы идем обедать.

ПОЛК В МЕШКЕ

Полк растянулся по шоссе. Солдаты измучены, устали. Второй день, почти не отдыхая, мы идем по полям Галиции.

Мы отступаем. У нас нет снарядов.

Командир полка приказывает петь песни.

Пулеметчики, гарцуя на лошадях, запевают «По синим волнам океана».[37]

Со всех сторон мы слышим выстрелы, взрывы. Такое впечатление, будто мы в мешке.

Мы проходим мимо деревни. Солдаты бегут к избам. У нас приказ — уничтожить все, что на шоссе.

Это мертвая деревня. Ее не жалко. Здесь нет ни души. Здесь нет даже собак. Нет даже ни одной курицы, которые обычно бывают в брошенных деревнях.

Гренадеры подбегают к маленьким избам и поджигают соломенные крыши. Дым поднимается к небу.

И вдруг в одно мгновение мертвая деревня оживает. Бегут женщины, дети. Появляются мужчины. Ревут коровы. Ржут лошади. Мы слышим крики, плач и визг.

Я вижу, как один солдат, только что поджегший крышу, сконфуженно гасит ее своей фуражкой.

Я отворачиваюсь. Мы идем дальше.

Мы идем до вечера. И потом идем ночью. Кругом зарево пожаров. Выстрелы. Взрывы.

Под утро командир полка говорит:

— Теперь я могу сказать. Два дня наш полк был в мешке. Сегодня ночью мы вышли из него.

Мы падаем на траву и тотчас засыпаем.

ПРОРЫВ

Я запомнил название этой деревни — Тухла. Здесь мы наспех вырыли окопы. Но проволочные заграждения натянуть не успели. Колючая проволока в больших мотках лежит позади нас. Вечером я получаю приказ — идти в штаб. Под свист пуль я иду вместе с моим вестовым.

Я вхожу в землянку штаба полка. Командир полка, улыбаясь, говорит мне:

— Малыш, оставайтесь в штабе. Адъютант в дальнейшем примет батальон. Вы будете вместо него.

Я ложусь спать в шалаше. Снимаю сапоги первый раз за неделю.

Рано утром я просыпаюсь от взрыва снарядов. Я выбегаю из шалаша.

Командир полка и штабные офицеры стоят у оседланных лошадей. Я вижу, что все взволнованы и даже потрясены. Вокруг нас падают снаряды, визжат осколки и рушатся деревья. Тем не менее офицеры стоят неподвижно, как каменные.

Начальник связи, отчеканивая слова, говорит мне:

— Полк окружен и взят в плен. Минут через двадцать немцы будут здесь… Со штабом дивизии связи нет… Фронт разорван на шесть километров.

Нервно дергая свои седые баки, командир полка кричит мне:

— Скорей скачите в штаб дивизии. Спросите какие будут указания… Скажите, что мы направились в обоз, где стоит наш резервный батальон…

Вскочив на лошадь, я вместе с ординарцем мчусь по лесной дороге.

Раннее утро. Солнце золотит полянку, которая видна справа от меня.

Я выезжаю на эту полянку. Я хочу посмотреть, что происходит и где немцы. Я хочу представить себе полную картину прорыва.

Я соскакиваю с лошади и иду на вершину холма.

Я весь сияю на солнце — шашкой, погонами и биноклем, который я прикладываю к своим глазам. Я вижу какие-то далекие колонны и конную немецкую артиллерию. Я пожимаю плечами. Это очень далеко.

Вдруг выстрел. Один, другой, третий. Трехдюймовые снаряды ложатся рядом со мной. Я еле успеваю лечь.

И, лежа, вдруг вижу внизу холма немецкую батарею. До нее не более тысячи шагов.

Снова выстрелы. И теперь шрапнель разрывается надо мной.

Ординарец машет мне рукой. Другой рукой он показывает на нижнюю дорогу, по которой идет батальон немцев.

Я вскакиваю на лошадь. И мы мчимся дальше.

ЗРЯ ПРИЕХАЛ

Карьером я подъезжаю к высоким воротам. Здесь штаб дивизии.

Я взволнован и возбужден. Воротник моего френча расстегнут. Фуражка на затылке. Соскочив с лошади, я вхожу в калитку. Ко мне стремительно подходит штабной офицер, поручик Зрадловский. Он цедит сквозь зубы:

— В таком виде… Застегните ворот…

Я застегиваю воротник и поправляю фуражку.

У оседланных лошадей стоят штабные офицеры.

Я вижу среди них командира дивизии, генерала Габаева, и начальника штаба, полковника Шапошникова. Я рапортую.

— Знаю, — раздраженно говорит генерал.

— Что прикажете передать командиру, ваше превосходительство?

— Передайте, что… Ну, что я могу передать человеку, который потерял полк… Вы зря приехали…

Я ухожу сконфуженный.

Я снова скачу на лошади. И вдруг вижу моего командира полка. Он высокий, худой. В руках у него фуражка. Седые его баки треплет ветер. Он стоит на поле и задерживает отступающих солдат. Это солдаты не нашего полка. Командир подбегает к каждому с криком и с мольбой.

Солдаты покорно идут к опушке леса. Я вижу здесь наш резервный батальон и двуколки обоза.

Я подхожу к офицерам. К ним подходит и командир полка. Он бормочет:

— Мой славный Мингрельский полк погиб.

Бросив фуражку на землю, командир в гневе топчет ее ногой.

Мы утешаем его. Мы говорим, что у нас осталось пятьсот человек. Это не мало. У нас снова будет полк.

АД

Мы сидим в каком-то овине. До окопов семьсот шагов. Свистят пули. И снаряды рвутся совсем близко от нас. Но командир полка Бало Макаев радостен, почти весел. У нас снова полк — наспех пополненный батальон.

Трое суток мы сдерживаем натиск немцев и не отступаем.

— Пишите, — диктует мне командир.

На моей полевой сумке тетрадь. Я пишу донесение в штаб дивизии.

Тяжелый снаряд разрывается в десяти шагах от овина. Мы засыпаны мусором, грязью, соломой.

Сквозь дым и пыль я вижу улыбающееся лицо командира.

— Ничего, — говорит он, — пишите.

Я снова принимаюсь писать. Мой карандаш буквально подпрыгивает от близких разрывов. Через двор от нас горит дом. Снова с ужасным грохотом разрывается тяжелый снаряд. Это уже совсем рядом с нами. С визгом и со стоном летят осколки. Маленький горячий осколок я для чего-то прячу в карман.

Нет нужды сидеть в этом овине, над которым теперь нет даже крыши.

— Ваше сиятельство, — говорю я. — разумней перейти на переднюю линию.

— Мы останемся здесь, — упорно говорит командир.

Ураганный артиллерийский огонь обрушивается на деревню. Воздух наполнен стоном, воем, визгом и скрежетом. Мне кажется, что я попал в ад.

Мне казалось, что я был в аду! В аду я был двадцать пять лет спустя, когда через дом от меня разорвалась немецкая бомба весом в полтонны.

Я ЕДУ В ОТПУСК

В руках у меня чемодан. Я стою на станции Залесье. Сейчас подадут поезд, и я через Минск и Дно вернусь в Петроград.

Подают состав. Это все теплушки и один классный вагон. Все бросаются поезду. Вдруг выстрелы. По звуку — зенитки. На небе появляются немецкие самолеты. Их три штуки. Они делают круги над станцией. Солдаты беспорядочно стреляют в них из винтовок.

Две бомбы с тяжким воем падают с самолетов и разрываются около станции.

Мы все бежим в поле. На поле — огороды, госпиталь с красным флагом на крыше и поодаль какие-то заборы.

Я ложусь на землю у забора.

Покружившись над станцией и сбросив еще одну бомбу, самолеты берут курс на госпиталь. Три бомбы почти одновременно падают у заборов, взрывая вверх землю. Это уже свинство. На крыше огромный крест. Его не заметить нельзя.

Еще три бомбы. Я вижу, как они отрываются от самолетов. Я вижу начало их падения. Затем только вой и свист воздуха.

Снова стреляют наши зенитки. Теперь осколки и стаканы нашей шрапнели осыпают поле. Я прижимаюсь к забору. И вдруг через щелочку вижу, что за забором артиллерийский склад.

Сотни ящиков с артиллерийскими снарядами стоят под открытым небом.

На ящиках сидит часовой и глазеет на самолеты.

Я медленно поднимаюсь и глазами ищу место, куда мне деться. Но деться некуда. Одна бомба, попавшая в ящики, перевернет все кругом на несколько километров.

Сбросив еще несколько бомб, самолеты уходят.

Я медленно иду к поезду и в душе благословляю неточную стрельбу. Война станет абсурдом, думаю я, когда техника достигнет абсолютного попадания. За этот год я был бы убит минимум сорок раз.

Я ЛЮБЛЮ

Я звоню. Дверь открывает Надя В. Она вскрикивает от удивления. И бросается мне на шею.

На пороге ее сестры и мама.

Мы идем на улицу, чтоб спокойно поговорить. Мы садимся на скамье у памятника «Стерегущему».[38]

Сжимая мои руки, Надя плачет. Сквозь слезы она говорит:

— Как глупо. Зачем вы мне ничего не писали. Зачем уехали так неожиданно. Ведь прошел год. Я выхожу замуж.

— Вы любите его? — спрашиваю я, еще не зная, о ком идет речь.

— Нет, я его не люблю. Я люблю вас. И больше никого не полюблю. Я откажу ему.

Она снова плачет. И я целую ее лицо, мокрое от слез.

— Но как я могу ему отказать, — говорит Надя, мысленно перебивая себя. — Ведь мы обменялись кольцами. И была помолвка. В этот день он подарил мне именье в Смоленской губернии.

— Тогда не надо, — говорю я. — Ведь я же снова еду на фронт. И что вам меня ждать? Может, я буду убит или ранен.

Надя говорит:

— Я все обдумаю. Я все решу сама. Не надо мне ничего говорить… Я вам отвечу послезавтра.

На другой день я встречаю Надю на улице. Она идет под руку со своим женихом. В этом нет ничего особенного. Это естественно. Но я взбешен.

Вечером я посылаю Наде записку о том, что, меня срочно вызывают на фронт. И через день я уезжаю.

Это был самый глупый и бестолковый поступок в моей жизни.

Я ее очень любил. И эта любовь не прошла до сих пор.

ПРИХОДИ ЗАВТРА

У подъезда я встречаю Тату Т. Она так красива и так ослепительна, что я отвожу от нее глаза, как от солнца.

Она смеется, увидев меня. Она с любопытством рассматривает мою форму и трогает мою серебряную шашку. Потом говорит, что я стал совсем взрослый и что даже неприлично, если люди увидят нас вместе. Непременно будут сплетни.

Мы поднимаемся по лестнице.

Позвякивая шпорами, я вхожу в ее квартиру,

У зеркала Тата поправляет свои волосы. Я подхожу к ней и обнимаю ее. Она смеется. Удивляется, что я стал такой храбрый. Она обнимает меня так, как когда-то на лестнице.

Мы целуемся. И в сравнении с этим весь мир кажется мне ничтожным. И ей тоже безразлично, что происходит кругом.

Потом она смотрит на часы и вскрикивает от страха. Говорит:

— Сейчас придет мой муж.

И в эту минуту открывается дверь и входит ее муж. Тата едва успевает поправить свою прическу.

Муж садится в кресло и молча смотрит на нас.

Тата, не растерявшись, говорит:

— Николай, ты только посмотри на него, какой он стал. Ведь он только сию минуту приехал с фронта.

Кисло улыбаясь, муж смотрит на меня.

Разговор не вяжется. И я, церемонно поклонившись, ухожу. Тата провожает меня.

Открыв дверь па лестницу, она шепчет мне:

— Приходи завтра днем. Он уходит в одиннадцать.

Я молча киваю головой.

Лицо ее мужа и кислая его улыбка целый день не выходят из моей головы. Мне кажется ужасным — и даже преступным — пойти завтра к ней днем.

Утром я посылаю Тате записку о том, что я срочно уезжаю на фронт.

Вечером я уезжаю в Москву и, пробыв там несколько дней, возвращаюсь в полк.

ВОР

Я командир батальона. Я обеспокоен тем, что дисциплина у меня падает.

Мои гренадеры с улыбкой отдают мне честь. Они почти подмигивают мне. Вероятно, я сам виноват. Я слишком много беседую с ними. Около моей землянки целый день толкутся люди. Некоторым нужно написать письма. Другие приходят за советом.

Какие могут быть советы, если я за спиной слышу, что они меня называют «внучек».

Дошло до того, что из моей землянки стали пропадать вещи. Исчезла трубка. Зеркало для бритья. Исчезают конфеты, бумага.

Надо будет всех подтянуть и приструнить. Мы на отдыхе. Я сплю в избе на кровати. Сквозь сон я вдруг чувствую, что чья-то рука тянется через меня к столу. Я вздрагиваю от ужаса и просыпаюсь.

Какой-то солдатик стремительно выскакивает из избы.

Я бегу за ним с наганом в руках. Я взбешен так, как никогда в жизни. Я кричу: «Стой». И если б он не остановился, я бы в него выстрелил. Но он остановился.

Я подхожу к нему. И он вдруг падает на колени. В руках у него моя безопасная бритва в никелированной коробочке.

— Зачем же ты взял? — спрашиваю я его.

— Для махорки, ваше благородие, — бормочет он. Я понимаю, что его надо наказать, отдать под суд. Но у меня не хватает сил это сделать. Я вижу его унылое лицо, жалкую улыбку, дрожащие руки. Мне отвратительно, что я погнался за ним.

Вынув бритву, я отдаю ему коробку. Я ухожу, раздраженный на самого себя.

ДВАДЦАТОЕ ИЮЛЯ

Я стою в окопах и с любопытством посматриваю на развалины местечка. Это — Сморгонь. Правое крыло нашего полка упирается в огороды Сморгони.

Это знаменитое местечко, откуда бежал Наполеон, передав командование Мюрату.

Темнеет. Я возвращаюсь в свою землянку.

Душная июльская ночь. Сняв френч, я пишу письма.

Уже около часа. Надо ложиться. Я хочу погнать вестового. Но вдруг слышу какой-то шум. Шум нарастает. Я слышу топот ног. И звяканье котелков. Но криков нет. И нет выстрелов.

Я выбегаю из землянки. И вдруг сладкая удушливая волна охватывает меня. Я кричу: «Газы!.. Маски!..» И бросаюсь в землянку. Там у меня на гвозде висит противогаз.

Свеча погасла, когда я стремительно вбежал и землянку. Рукой я нащупал противогаз и стал надевать его. Забыл открыть нижнюю пробку. Задыхаюсь. Открыв пробку, выбегаю в окопы.

Вокруг меня бегают солдаты, заматывая свои лица марлевыми масками.

Нашарив в кармане спички, я зажигаю хворост, лежащий перед окопами. Этот хворост приготовлен заранее. На случай газовой атаки.

Теперь огонь освещает наши позиции. Я вижу, что все гренадеры вышли из окопов и лежат у костров. Я тоже ложусь у костра. Мне нехорошо. Голова кружится. Я проглотил много газа, когда крикнул: «Маски!»

У костра становится легче. Даже совсем хорошо. Огонь поднимает газы, и они проходят, не задевая нас. Я снимаю маску.

Мы лежим четыре часа.

Начинает светлеть. Теперь видно, как идут газы. Это не сплошная стена. Это клуб дыма шириной в десять саженей. Он медленно надвигается на нас, подгоняемый тахим ветром.

Можно отойти вправо или влево — и тогда он проходит мимо, не задевая.

Теперь не страшно. Уже кое-где я слышу смех и шутки. Это гренадеры толкают друг друга в клубы газа. Хохот. Возня.

В бинокль гляжу в сторону немцев. Теперь я вижу, как они из баллонов выпускают газ. Это зрелище отвратительно. Бешенство охватывает меня, когда я вижу, как методически и хладнокровно они это делают.

Я приказываю открыть огонь по этим мерзавцам. Я приказываю стрелять из всех пулеметов и ружей, хотя понимаю, что вреда мы принесем мало — расстояние полторы тысячи шагов.

Гренадеры стреляют вяло. И стрелкой немного. Я вдруг вижу, что многие солдаты лежат мертвые. Их — большинство. Иные же стонут и не могут подняться.

Я слышу звуки рожка в немецких окопах. Это отравители играют отбой. Газовая атака окончена.

Опираясь на палку, я бреду в лазарет. На моем платке кровь от ужасной рвоты.

Я иду по шоссе. Я вижу пожелтевшую траву и сотню дохлых воробьев, упавших на дорогу.

ФИНАЛ

Наш полк снова на отдыхе.

На розвальнях мы едем в обоз второго разряда — там предстоит ужин.

Начальник обоза встречает дорогих гостей.

На столе бурдюки с вином, шашлыки и всякая снедь.

Я сижу за столом с сестрой милосердия Клавой. Я уже пьян. Но нужно пить еще. Каждый стакан сопровождается тостом.

Я чувствую, что мне не следует больше пить. После газов у меня непорядки в сердце.

Чтобы не пить, я выхожу на улицу. И сажусь на крыльцо.

Приходит Клава и удивляется, что я сижу без пальто на морозе. Она за руку ведет меня в свою комнату. Там телло. Мы садимся на ее постель.

Но отсутствие наше уже замечено. Со смехом и шутками офицеры стучат в окно нашей комнаты.

Мы снова идем к столу.

Утром мы возвращаемся на стоянку полка. И я, как камень, засыпаю на своей походной койке.

Я просыпаюсь от воя и взрыва бомб. Немецкий самолет бомбит деревню. Это не та бомбежка, что мы знаем из последней войны. Это четыре бомбы — и самолет улетает.

Я выхожу на улицу. И вдруг чувствую, что не могу дышать. Сердце мое останавливается. Я берусь за пульс — пульса нет.

С невероятным трудом, держась за заборы, я дохожу до нашего околотка.

Врач, покачивая головой, кричит:

— Камфару!

Мне впрыскивают камфару. Я лежу, почти умирая. У меня немеет левая часть груди. Пульс у меня сорок.

— Вам нельзя пить. — говорит врач. — Порок сердца.

И я даю себе слово больше не пить. Меня везут в госпиталь по талому февральскому снегу.

1917–1920

Обратно к войскам поскакал на коне,

И новым повеяло ветром в стране…[39]

Я НИЧЕГО НИ ПОНИМАЮ

Первые числа марта. С вокзала я еду на извочике домой.

Я еду мимо Зимнего дворца. Вижу на дворце красный флаг.

Значит — новая жизнь. Новая Россия. И я — новый, не такой, как был. Пусть все позади — мои огорчения, нервы, моя хандра, мое больное сердце.

С восторгом я вхожу в свой родной дом. И в тот же день обхожу всех моих друзей. Я вижу Надю и ее мужа. Встречаю Тату Т. Захожу к товарищам по университету.

Я вижу кругом радость и ликование. Все довольны, что произошла революция. Кроме Нади, которая сказала мне: «Это ужасно. Это опасно для России. Я не жду ничего хорошего».

Два дня я чувствую себя прекрасно. На третий день у меня снова хандра, снова перебои сердца, мрак и меланхолия. Я ничего не понимаю. Я теряюсь в догадках, откуда возникла эта тоска. Ее не должно быть!

Вероятно, нужно работать. Вероятно, нужно все свои силы отдать людям, стране, новой жизни.

Я иду в главный штаб, к представителю Временного правительства. Я прошу его снова назначить меня в армию.

Но я негоден в строй, и меня назначают комендантом главного почтамта и телеграфа.

То, что мне больше всего неприятно, — исполнилось. Я сижу в кабинете и подписываю какие-то бумаги. Эта работа мне противна в высшей степени.

Я иду снова в штаб и прошу командировать меня куда-либо в провинцию.

Мне предлагают Архангельск — адъютантом дружины. Я соглашаюсь.

Через неделю я должен ехать.

ПЯТИЧАСОВОЙ ЧАЙ

За мной заходит правовед Л. Мы собираемся идти в один весьма аристократический дом — к княгине Б.

Л. просит меня надеть все мои ордена.

— Ей будет приятно это, — говорит он. — Ее муж до сих пор на фронте. Он командует гвардейской дивизией.

Я показываю свои ордена. Один орден — на моей кавказской шашке. Два ордена приклепаны на моем портсигаре. Четвертый орден носится на шее. Мне вообще как-то неловко его надеть. Пятый орден я не получил на руки — только в приказе.

Л. настаивает. Он прилаживает орден под воротник моего френча.

Чувствуя себя неважно, я иду с правоведом на Офицерскую.

Мне не приходилось раньше бывать среди аристократии. Февральская революция сломала сословные перегородки. И вот я иду в этот дом.

В маленькой гостиной два гвардейских офицера, несколько правоведов и лицеист.

Княгиня нехороша собой — небольшого роста, с мелкими чертами лица. Но она держится очень просто. И я не чувствую неловкости.

Лакей бесшумно вкатывает в комнату стеклянный столик на колесиках. Княгиня разливает чай.

Разговор все время вокруг царской фамилии. Все время речь идет о Николае, об отречении, о здоровье того или иного члена царской семьи. О самочувствии супруги. И о всяких придворных делах и поступках.

Я, как бревно, сижу в кресле, со своим орденом на шее. Мне абсолютно нечего сказать на эту тему. Я с тоской посматриваю на моего знакомого правоведа. Он отводит глаза от меня.

Попив чай, мы переходим в большую гостиную. Однако тема разговора не меняется.

Наконец, кто то из правоведов начинает петь модную тогда песенку: «По улицам ходила большая крокодила…» Все подхватывают эту песенку.

Они поют ее пять или шесть раз и при этом смеются. Один из правоведов берет в зубы какой-то шарф, когда песенка доходит до слов: «В зубах она держала кусочек одеяла…»

Все странно смеются. И княгиня снисходительно посмеивается.

В семь часов мы выходим на улицу. Л. спрашивает меня, как мне понравилось. Я пожимаю плечами.

НЕВЕСТА ВАВА

Я приехал в Архангельск мрачный, в ужасной тоске. Тем не менее, а может быть, и поэтому меня там начали сватать.

Мне прочили в невесты Ваву М. — дочь очень богатого рыботорговца.

Я не видел эту девушку, и она не видела меня.

Но там было принято такое сватовство. Это занимало дам, которым нечего было делать.

Мою встречу с невестой обставили торжественно — в зимнем саду какого-то богатого дома.

Передо мной была очень юная, очень тихая девушка.

Нас оставили вдвоем, чтоб мы побеседовали. Я всегда был неразговорчив. Но в тот вечер случилась просто катастрофа. Я буквально не знал, о чем мне говорить. Я клещами вытаскивал из себя слова, чтобы заполнить ужасающие паузы.

Девушка испуганно смотрела на меня и тоже молчала.

Я ниоткуда не ждал спасения. Все ушли в дальние комнаты и плотно прикрыли дверь зимнего сада.

Тогда я стал читать стихи.

Я стал читать стихи из модной книжки В. Инбер — «Печальное вино». Потом я стал читать Блока и Маяковского.

Вава слушала меня внимательно, не проронив ни слова.

Когда в гостиную вошли люди, я был почти весел. Я спросил Ваву, понравилось ли то, что я ей читал. Она тихо сказала:

— Я не люблю стихи.

— Так зачем же вы целый час слушали их! — воскликнул я, глухо пробормотав: «Дура».

— Это было бы невежливостью с моей стороны не слушать то, что вы говорите.

Почти по-солдатски я повернулся на каблуках и, взбешенный, отошел от девушки.

ЗАМШЕВЫЕ ПЕРЧАТКИ

По вторникам и субботам мы бываем у Д. Это молодая женщина, вдова морского офицера.

У нее всегда очень весело. Она остроумна и кокетлива.

Я не имею у нее успеха. Ей нравится мичман Т. — добродушный широкоплечий офицер.

Вечер. Мы играем у нее в покер. Д. кокетничает с мичманом. Она как бы невзначай прикасается рукой к его руке и подолгу смотрит в его глаза. Похоже на то, что она пригласит его бывать у себя не только по вторникам и субботам.

Впрочем, со мной она тоже приветлива. Но не настолько. Она говорит, что я слишком инертен, не мужественен, печален. Меланхолия — это не ее идеал.

Мы уходим от нее ночью. И на улице подшучиваем над мичманом, который загадочно улыбается.

Утром я не нахожу свои перчатки. Мне очень жаль их. Это английские замшевые перчатки.

Должно быть, я оставил их у Д.

По телефону я звоню Д. В ответ я слышу продолжительный смех. Сквозь смех она говорит мне:

— Ах, это ваши перчатки? Я почему-то была уверена, что это перчатки мичмана…

Я захожу к ней в назначенный час. Она не отпускает меня, и мы пьем чай в ее будуаре.

Попив чай, она склоняет голову мне на грудь. И я ухожу от нее через три часа.

В передней она подает мне мои замшевые перчатки.

— Вот ваши перчатки, плутишка, — говорит она, улыбаясь. — Согласитесь сами, что это немножко наивный прием — оставить перчатки, чтоб потом прийти к даме.

Я бормочу извинения. Смеясь, она грозит мне пальцем. Вздохнув, говорит:

— Как видите, я оценила вашу милую уловку. Вы предприимчивы. Я не ожидала этого от вас…

— Мадам, — говорю я, — уверяю вас… Я случайно забыл перчатки… Я не имел никаких намерений…

Я пожалел о том, что я так сказал. Лицо ее стало некрасивое, желтое, почти старое.

— Ах, вот как, — сказала она сквозь зубы. — В таком случае я очень сожалею… О, пусть мне это будет уроком!

Она меня больше не приглашала к себе. Я бы так же поступил на ее месте.

ДОРОГИ ВЕДУТ В ПАРИЖ

В кресле против меня французский полковник. Чуть усмехаясь, он говорит:

— Завтра, в двенадцать часов дня, вы можете получить паспорт. Через десять дней вы будете в Париже… Вы должны благодарить мадемуазель Р. Это она оказала вам протекцию.

— Я не просил об этом мадемуазель Р., — говорю я полковнику.

Прищурившись, он смотрит на меня.

— Ах, вот как, — говорит он. — В таком случае извините, я не знал, что это идет вразрез с вашим желанием.

Я говорю:

— Я не собираюсь никуда уезжать, полковник. Это недоразумение.

Пожав плечами, он говорит:

— Мой друг, вы отдаете себе отчет, что происходит в вашей стране?.. Прежде всего это небезопасно для жизни — пролетарская революция… Мы здесь, в Архангельске, чувствуем это еще не в такой степени… Вы должны подумать. Я завтра ожидаю вас в двенадцать.

— Хорошо, я подумаю, — говорю я. Хотя мне нечего думать. У — меня нет сомнении. Я не могу и не хочу уехать из России. Я ничего не ищу в Париже.

Вечером ко мне приходит мадемуазель Р. Она француженка. Она не очень хороша собой. Но она очень веселая и смешливая. Кое-что я не понимаю в ней. Она всякий раз берет из пепельницы мой окурок папиросы и прячет его в сумку. «Это на память», — говорит она. Я не могу ее отучить от этой дурной манеры. Вероятно, она провинциалка. Но она утверждает, что она родилась в Париже.

Она спрашивает меня, видел ли я полковника. Я ей рассказываю все, что было. Она немного раздражена. Сердито говорит:

— Это глупо. Все ваши уезжают. Вы здесь все равно не останетесь. Дороги ведут в Париж.

Восторженно она говорит о Париже и о том, как мы сказочно там будем жить.

Я спускаю ее с облаков. Я говорю ей:

— В таком случае зачем же вы уехали из Парижа? Вы здесь всего — гувернантка, учительница. А там вы будете швея.

Она говорит:

— Я приехала сюда к миллионеру. Это интересно… А там я буду не швея, а кокотка.

Мы смеемся.

У ВОРОТ

Я взбегаю на третий этаж одним духом. Сердце мое колотится.

Я звоню у Надиных дверей. Никто не отворяет. Я стучу в дверь сначала тихо. потом стучу ногой.

Открывается соседняя дверь.

— Вам нужно В.? — спрашивает старуха. — Они все уехали.

— Куда?

— Не знаю. Спросите дворника.

Я стою у ворот. Передо мной дворник. Он узнал меня. Улыбается.

— Все В. уехали, — говорит он почти радостно.

— Когда?

— В том месяце. В феврале.

— А вы не знаете, куда они уехали?

— Куда ж они могли уехать? К белым… Ну, так ведь папаша — генерал… А тут ваших дробили — красота!.. Конечно, уехали…

Должно быть, увидев смятение на моем лице, дворник сочувственно вздыхает.

— Да вы по ком страдали-то? — спрашивает он. — Что-то я не помню — по Наденьке или по Катеньке.

— По Наденьке.

— Очень милая госпожа, — говорит он. — Папа — генерал, супруг — помещик… Ясно… Взяла младенца и уехала.

— Разве у нее был ребенок?

— Я же говорю — взяла только что родившегося ребенка и уехала.

Я иду домой. Весь мир мне кажется тусклым.

В ПОДВАЛЕ

Я сижу на низеньком табурете. На моих коленях чей-то потрепанный сапог. Рашпилем я подравниваю только что прибитую кожу подметки. Я — сапожник. Мне нравится эта работа. Я презираю интеллигентский труд — это умственное ковыряние, от которого, должно быть, исходят меланхолия и хандра.

Я не вернусь больше к прошлому. Мне довольно того, что у меня есть.

Напротив меня, за низким грязным столом, сидит хозяин, Алексей Алексеевич — толстый сапожник в никелированных очках. Рядом с ним его племянник — подросток Андрюшка. Они оба работают сосредоточенно.

Подросток не без лихости бьет молотком по подметке.

Позади, на деревянном диване, — белобрысый хозяйский сын. Оболтусу двадцать лет. Он поступает в консерваторию, на класс скрипки. По этой причине он не работает. Он сидит с газетой в руках.

Засмеявшись, подросток Андрюшка начинает рассказывать историю о том, как летом один жилец свалился из окна второго этажа. Выпив денатурату, он заснул на подоконнике и, потянувшись во сне, упал в сад. Побился, но не убился.

Третью неделю я каждый день слышу эту историю. Тем не менее все смеются. И я тоже смеюсь — это почему-то смешно.

На наш смех иной раз выходит из кухни хозяйка и, встав у дверей, тоже смеется, утирая передником рот и глаза.

Хозяин, впрочем, не позволяет рассказывать эту историю. Он сердится и бранится, когда начинается этот рассказ. Но его самого захватывают подробности, и он смеется сильнее всех, держась рукой за живот. У него язва желудка, и ему нельзя смеяться. Поэтому он запрещает этот рассказ.

Однако подросток либо хозяйский сын нарочно заводят об этом речь. Они начинают издалека, как бы с посторонних предметов — с выпивки, с денатурата, со спящих людей. Но всякий раз подгоняют разговор к происшествию.

На этот раз подросток начинает с дворника, который испугался. Хозяйский сын подбрасывает несколько фраз не в пользу дворника. И тогда подросток, взвизгивая от смеха, рассказывает подробности — как бросился бежать этот дворник, когда рука падающего жильца ударила его по плечу и затылку.

От смеха хозяин мотается на табуретке, по временам охая и хватаясь за живот.

Наконец он выскакивает на кухню.

Я говорю:

— Не следует его смешить. Видите — ему опять нехорошо.

Хозяйский сын говорит:

— Чепуха. У папаши тошнота. Всем известно — это облегчает людей.

Возвращается хозяин, утирая рот рукавом. Мы снова молча работаем.

ЧУГУННАЯ ТЕНЬ

Бывшая помещичья усадьба Маньково в Смоленской губернии. Сейчас здесь совхоз.

При исполкоме я прилично сдал экзамены на звание птицевода. И теперь я заведующий птицеводческой фермой.

Я брожу среди птиц с книгами в руках. Некоторые породы птиц я видел только в жареном виде. И вот теперь учебники мне приходят на помощь.

Две недели я не отхожу от птиц, почти ночую с ними, стараясь изучить их характер и нравы.

На третью неделю я позволяю себе небольшие прогулки в окрестности.

Я хожу по проселочным дорогам. По временам встречаю крестьян.

Всякий раз меня ошеломляют эти встречи. Шагов за пятнадцать крестьянин снимает свою, шапку и низко кланяется мне.

Я вежливо приподнимаю свою кепку и оконфуженно прохожу.

Сначала я думаю, что эти поклоны случайны, но потом вижу, что это повторяется всякий раз.

Быть может, меня принимают за какую-нибудь важную шишку?

Я спрашиваю старуху, которая только что поклонилась мне почти в землю:

— Бабушка, — говорю я, — почему вы так кланяетесь мне? В чем дело?

Поцеловав мою руку и ничего не сказав, старуха уходит.

Тогда я подхожу к крестьянину. Он пожилой. В лаптях. В рваной дерюге. Я спрашиваю его, почему он содрал с себя шапку за десять шагов поклонился мне в пояс.

Поклонившись еще раз, крестьянин пытается поцеловать мою руку. Я отдергиваю ее.

— Чем я тебя рассердил, барин? — спрашивает он.

И вдруг в этих словах и в этом его поклоне я увидел и услышал все. Я увидел тень прошлой привычки жизни. Я услышал окрик помещика и тихий рабский ответ. Я увидел жизнь, о которой я не имел понятия. Я был поражен, как никогда в жизни.

— Отец, — сказал я крестьянину, — вот уже год власть у рабочих и крестьян. А ты собираешься лизать мне руку.

— До нас не дошло, — говорит крестьянин. — Верно, господа съехали со своих дворов, живут по хатам… Но кто ж его знает, как оно будет…

Я иду с крестьянином до его деревни. Я захожу в его избу.

На каждом шагу я вижу чугунную тень прошлого.

УМИРАЕТ СТАРИК

Я стою в крестьянской избе. На столе лежит умирающий старик.

Он лежит уже третий день и не умирает.

Сегодня у него в руке восковая свечка. Она падает и гаснет, но ее снова зажигают.

У изголовья родственники. Они смотрят на старика не отрываясь. Вокруг невероятная бедность, грязь, тряпки, нищета…

Старик лежит ногами к окну. Лицо у него темное, напряженное. Дыхание неровное. Иной раз кажется, что он уже умер.

Наклонившись к старухе — его жене, я тихо говорю ей:

— Я съезжу за доктором. Не дело, что он третий день лежит на столе.

Старуха отрицательно качает головой.

— Не надо его тревожить, — говорит она.

Старик открывает глаза и мутным взором обводит окружающих. Губы его что-то шепчут.

Одна из женщин, молодая и смуглолицая, наклоняется к старику и молча слушает его бормотанье.

— Что он? — спрашивает старуха.

— Титьку просит, — отвечает женщина. И быстро расстегнув свою кофту, берет руку старика и кладет ее на свою обнаженную грудь

Я вижу, как лицо старика светлеет. Нечто вроде улыбки пробегает по его губам. Он дышит ровней, спокойней.

Все стоят молча, не шевелясь.

Вдруг тело старика вздрагивает. Рука его беспомощно падает вниз. Лицо делается строгий и совсем спокойным. Он перестает дышать. Он умер.

Тотчас старуха начинает голосить. И вслед за ней голосят все.

Я выхожу из избы.

МЫ ИГРАЕМ В КАРТЫ

На столе керосиновая лампа под кокетливым розовым абажуром. Мы играем в преферанс.

Мои партнеры — толстая дама Ольга Павловна, старик с гнилыми зубами и его дочь — молодая красивая женщина, Вероника. Это бывшие помещики из соседних районов. Они не пожелали уехать далеко от своих владений. Сняв у крестьян эту избу, они живут здесь на правах частных людей.

Вот уже четыре часа мы сидим за столом. Мне осточертела эта игра. Я бы с наслаждением ее бросил. Но мне неудобно — я в проигрыше, у меня большой ремиз наверху.

Мне безумно не везет. Везет Ольге Павловне, которая с каждой удачей делается все более шумной и радостной.

Открыв «10 игры», она от восторга ударяет ладонью по столу.

— Я счастливая! — кричит она. — Мне всегда и во всем везло… Пройдет два-три месяца, и я уверена, что получу обратно свое имение…

Старик с гнилыми зубами начинает смеяться.

— Одно дело карты, почтеннейшая Ольга Павловна, — говорит он, — а другое дело — Россия, политика, революция.

— Безразлично! — кричит Ольга Павловна. — В жизни мы тоже играем в карты. Одному везет, другому не везет. А мне всегда и во всем везло — и в жизни, и в карты… Вот увидите, я скоро получу обратно свое «Затишье»…

Сдавая карты, она говорит:

— Получу свое «Затишье», немного попорю своих мужиков, и все пойдет по-старому.

— После такой революции только лишь попорете? — спрашивает гнилозубый старик, перестав смеяться.

Ольга Павловна, прекратив сдачу, говорит:

— Я не такая безмозглая, чтобы сажать в тюрьму своих мужиков. Я не намерена остаться без рабочей силы. Имейте это в виду…

— Ну нет, почтеннейшая Ольга Павловна, — говорит старик. — Я категорически не согласен с вами… И буду возражать против вашей политики… Двоих я вешаю — я знаю кого. Пятерых отправлю на каторгу. Остальных — порю и штрафую. Пусть они год работают только на меня.

Я бросаю свои карты так, что они подскакивают на столе и рассыпаются по полу.

— Ох! — надменно восклицает Ольга ПаВловна.

— Негодяи, преступники! — говорю я тихо. Это из-за вас такая беда, такая темнота в деревне, такой мрак…

Я выгребаю из карманов деньги и швыряю их на стол.

Меня колотит лихорадка.

Я выскакиваю в сени и, нащупав шубу, с трудом всовываю в нее свои руки.

В комнате тихо. Даже никто не шепчется. Я жду, что в сени выйдет Вероника, но она не выходит.

Я иду во двор. Вывожу лошадь из ворот.

Ложусь в розвальни.

Лошадь бойко бежит — она сама знает дорогу. Над моей головой темное небо, звезды. Вокруг снег, поля. И ужасная тишина.

Зачем я приехал сюда? Для чего я тут, среди птиц и шакалов? Я завтра же уеду отсюда.

В ШТАБЕ ПОЛКА

Я сижу за столом. Переписываю приказ по полку. Этот приказ мы набросали сегодня утром вместе с командиром и комиссаром полка.

Я — адъютант 1-го Образцового полка деревенской бедноты.

Передо мной карта северо-западной России. Красным карандашом отмечена линия фронта, — она идет от берега Финского залива через Нарву — Ямбург.

Наш штаб полка в Ямбурге.

Я переписываю приказ красивым четким почерком.

Командир и комиссар уехали на позиции. У меня порок сердца. Мне нельзя скакать на лошади. И поэтому они редко берут меня с собой.

Кто-то стучит в окно. Я вижу какую-то штатскую фигуру в изодранном, грязном пальто. Постучав в окно, человек кланяется.

Я велю часовому пропустить этого человека. Часовой нехотя пропускает.

— Что вам угодно? — спрашиваю я.

Сняв шапку, человек мнется у дверей.

Я вижу перед собой человека очень жалкого, даже какого-то несчастного, забитого, огорченого. Чтобы ободрить его, я подвожу его к креслу и, пожав ему руку, прошу сесть. Он нехотя садится.

Он говорит, еле шевеля губами:

— Если Красная Армия будет отходить — отходить ли нам вместе с вами или оставаться?

— А кто вы будете? — спрашиваю я.

— Я пришел из колонии «Крутые ручьи». Там наша колония прокаженных.

Я чувствую, как мое сердце падает. Незаметно вытираю свою руку о свои ватные штаны.

— Не знаю, — говорю я. — Я один не могу решить этого вопроса. Кроме того, речь идет не о нашем отступлении. Я не думаю, что фронт пойдет дальше Ямбурга.

Поклонившись мне, человек уходит. Из окна я вижу, что он показывает свои язвы часовому.

Я иду в лазарет и карболкой мою свои руки.

Я не заболел. Вероятно, у нас преувеличенный страх к этой болезни.

ХЛЕБ

Я потерял сознание, когда утром вышел из штаба, чтобы пройтись немного по воздуху.

Часовой и телефонист приводили меня в чуйство. Они почему-то терли мои уши и разводил мои руки, как утопленнику. Тем не менее очнулся.

Командир полка сказал мне:

— Немедленно поезжайте отдохнуть. Я вам дам две недели отпуска.

Я уехал в Петроград.

Но в Петрограде я не чувствовал себя лучше.

Я пошел в военный госпиталь за советом. Послушав мое сердце, мне сказали, что для армии я негоден. И оставили меня в госпитале до комиссии.

И вот вторую неделю я лежу в палате.

Кроме того, что я плохо себя чувствую, я еще голоден. Это — девятнадцатый год! В госпитале дают четыреста граммов хлеба и тарелку супа. Это мало для человека, которому двадцать три года.

Моя мать изредка приносит мне копченую воблу. Мне совестно брать эту воблу. У нас дома большая семья.

Напротив меня на койке сидит молодой парень в кальсонах. Ему только что привезли из деревни два каравая хлеба. Он перочинным ножом нарезает куски хлеба, мажет их маслом и посылает в свой рот. Это он делает до бесконечности.

Кто-то из больных просит:

— Свидеров, дай кусочек.

Тот говорит:

— Дайте самому пожрать. Пожру и тогда дам.

Заправившись, он разбрасывает куски по койкам. Спрашивает меня:

— А тебе, интеллигент, дать?

Я говорю:

— Только не бросай. А положи на мой стол.

Ему досадно это. Он хотел бы бросить. Это интересней.

Он молча сидит, поглядывает на меня. Потом встает с койки и, паясничая, кладет кусок хлеба на мой столик. При этом театрально кланяется и гримасничает. В палате смех.

Мне очень хочется сбросить это подношение на пол. Но я сдерживаю себя. Я отворачиваюсь к стене.

Ночью, лежа на койке, я съедаю этот хлеб.

Мысли у меня самые горькие.

СЫР БРИ

Каждый день я подхожу к забору, на котором наклеена «Красная газета».

В газете «Почтовый ящик». Там ответы авторам.

Я написал маленький рассказ о деревне. И послал в редакцию. И вот теперь не без волнения ожидаю ответа.

Я написал этот рассказик не для того, чтоб заработать. Я — телефонист пограничной охраны. Я обеспечен. Рассказ написан просто так, — мне казалось это нужным — написать о деревне. Рассказ я подписал псевдонимом — М. М. Чирков.

Моросит дождь. Холодно. Я стою у газеты и просматриваю «Почтовый ящик».

Вижу:

«М. М. Чиркову. — Нам нужен ржаной хлеб, а не сыр бри».

Я не верю своим глазам. Я поражен. Может быть, меня не поняли?

Начинаю вспоминать то, что я написал.

Нет, как будто бы правильно написано, хорошо, чистенько. Немножко манерно, с украшениями, с латинской цитатой… Боже мой! Для кого же это я так написал? Разве так следовало писать?.. Старой России нет… Передо мной — новый мир, новые люди, новая речь…

Я иду на вокзал, чтобы ехать в Стрельню на дежурство. Я сажусь в поезд и час еду.

Черт меня дернул снова склониться к интеллигентскому труду. Это в последний раз. Больше этого не будет. В этом виновата моя неподвижная, сидячая работа. У меня слишком много времени для того, чтобы думать.

Я переменю работу.

МЫ ПОЙМАЕМ ЕГО

Ночь. Темно. Я стою на каком-то пустыре Лигова.

В кармане моего пальто — наган.

Рядом со мной работник угрозыска. Он шепчет мне:

— Вы встаньте у окна так, чтоб моя пуля не задела вас, если я буду стрелять… Если он выскочит в окно — стреляйте… старайтесь в ноги…

Затаив дыхание, я подхожу к окошечку. Оно освещено. Спиной я прижимаюсь к стене. Скосив глаза, заглядываю поверх занавески.

Я вижу кухонный стол. Керосиновую лампу.

Мужчина и женщина сидят за столом, играют в карты.

Мужчина сдает грязные, лохматые карты.

Ходит, прихлопывая карту ладонью. Оба смеются.

Н. и три работника розыска наваливаются на дверь одновременно.

Это ошибка. Нужно было найти иной способ открыть дверь. Она не сразу поддается усилиям.

Бандит тушит лампу. Темно.

Дверь с треском раскрывается. Выстрелы…

Я поднимаю наган на уровне окна.

Тихо.

Мы зажигаем лампу в избе. На табуретке сидит женщина — она бледна и дрожит. Ее партнера нет — он ушел в другое окно, которое было заколочено досками.

Мы рассматриваем это окно. Доски были приколочены так, что они отваливались от легкого нажима.

— Ничего, — говорит Н., — мы поймаем его.

На рассвете мы задерживаем его на четвертой версте. Он стреляет в нас. И потом стреляет в себя.

ДВЕНАДЦАТОЕ ЯНВАРЯ

Холодно. Идет пар изо рта.

Обломки моего письменного стола лежат у печки. Но комната нагревается с трудом.

На постели лежит моя мать. Она в бреду. Доктор сказал, что у нее испанка — это ужасный грипп, от которого в каждом доме умирают люди.

Я подхожу к матери. Она — под двумя одеялами и двумя пальто.

Кладу свою руку на ее лоб. Жар обжигает мою руку.

Гаснет коптилка. Я поправляю ее. И сажусь рядом с матерью, на ее кровать. Долго сижу, всматриваясь в ее измученное лицо.

Кругом тихо. Сестры спят. Уже два часа ночи.

— Не надо, не надо… не делайте этого… — бормочет мать.

Я подношу к ее губам теплую воду. Она делает несколько глотков. На секунду открывает глаза. Я наклоняюсь к ней. Нет, она снова в бреду.

Но вот ее лицо делается спокойней. Дыхание ровней. Может быть, это был кризис? Ей будет лучше…

Я вижу — как будто бы тень проходит по лицу моей матери. Боясь что-нибудь подумать, я медленно поднимаю свою руку и дотрагиваюсь до ее лба. Она умерла.

У меня почему-то нет слез. Я сижу на кровати не двигаясь. Потом встаю и, разбудив моих сестер, ухожу в свою комнату.

Я НИЧЕГО НЕ ХОЧУ

Деревянные сани на деревянных полозьях. На санях стоит некрашеный гроб. Впрягшись в веревку, я везу эти сани на кладбище.

За санями идут мои сестры и мой маленький брат.

Вот уже Смоленское кладбище. У ворот множество таких саней с гробами. Привычных колесниц и лошадей под сетками нет. Вероятно, лошади съедены, как и съедена их пища — овес.

Гроб несут в церковь. Я остаюсь на улице. Я сажусь на ступеньках храма. И сижу рядом с нищими. Я сам нищий. У меня нет ничего впереди. И я ничего не хочу. У меня нет никаких желаний. Мне только жалко мою мать.

Гроб снова выносят из церкви. И я снова везу сани в дальнюю аллею. Там могила моего отца, который умер четырнадцать лет назад. Рядом с этой могилой вырыта новая. Я приподнимаю крышку гроба и целую мертвую руку матери.

НОВЫЙ ПУТЬ

На тележке маленький письменный стол, два кресла, ковер и этажерка.

Я везу эти вещи на новую квартиру.

В моей жизни перемена.

Я не мог остаться в квартире, где была смерть.

Одна женщина, которая меня любила, сказала мне:

— Ваша мать умерла. Переезжайте ко мне.

Я пошел в загс с этой женщиной. И мы записались. Теперь она моя жена.

Я везу вещи на ее квартиру, на Петроградскую сторону.

Это очень далеко. И я с трудом толкаю мою тележку.

Передо мной — подъем на Тучков мост.

У меня больше нет сил толкать мою тележку. Ужасное сердцебиение. Я с тоской посматриваю на прохожих. Быть может, найдется добрая душа — поможет мне взять это возвышение.

Нет, прохожие, равнодушно посматривая, проходят мимо.

Черт с ними! Я должен сам… Если б только не перебои сердца… Глупо умереть на мосту, перевозя кресла и стол.

Изнемогая, я вкатываю тележку на мост.

Теперь легко.

1920–1926

Если б со счастьем дружил я, поверь,

Не этим бы стал заниматься теперь.[40]

ДОМ ИСКУССТВ

Этот дом на углу Мойки и Невского.

Я хожу по коридору в ожидании литературного вечера.

Это ничего не значит, что я следователь уголовного розыска. У меня уже две критические статьи и четыре рассказа. И все они очень одобрены.

Я хожу по коридору и смотрю на литераторов.

Вот идет А. М. Ремизов.[41] Маленький и уродливый, как обезьяна. С ним его секретарь. У секретаря из-под пиджака торчит матерчатый хвост. Это символ. Ремизов — отец-настоятель «Обезьяньей вольной палаты».

Вот стоит Е. И. Замятин.[42] Его лицо немного лоснится. Он улыбается. В руке у него длинная папироса в длинном изящном мундштуке.

Он с кем-то разговаривает по-английски.

Идет Шкловский. Он в восточной тюбетейке. У него умное и дерзкое лицо. Он с кем-то яростно спорит. Он ничего не видит — кроме себя и противника.

Я здороваюсь с Замятиным.

Обернувшись ко мне, он говорит:

— Блок здесь, пришел. Вы хотели его увидеть…

Вместе с Замятиным я вхожу в полутемную комнату.

У окна стоит человек. У него коричневое лицо от загара. Высокий лоб. И нетемные, волнистые, почти курчавые волосы.

Он стоит удивительно неподвижно. Смотрит на огни Невского.

Он не оборачивается, когда мы входим.

— Александр Александрович, — говорит Замятин.

Медленно повернувшись. Блок смотрит на нас.

Я никогда не видел таких пустых, мертвых глаз. Я никогда не думал, что на лице могут отражаться такая тоска и такое безразличие.

Блок протягивает руку — она вялая и безжизненная.

Мне становится неловко, что я потревожил человека в его каком-то забытьи… Я бормочу извинения.

Немного глухим голосом Блок спрашивает меня:

— Вы будете выступать на вечере?

— Нет, — говорю я. — Я пришел послушать литераторов.

Извинившись еще раз, я торопливо ухожу.

Замятин остается с Блоком.

Я снова хожу по коридору. Меня душит какое-то волнение. Теперь я почти вижу свою судьбу. Я вижу финал своей жизни. Я вижу тоску, которая меня непременно задушит.

Я спрашиваю кого-то: «Сколько Блоку лет?» Мне отвечают: «Около сорока».

Ему нет сорока лет! Но Байрону было тридцать, когда он сказал:

То пресыщенье? Оно теперь следит

За мной, как тать, везде. В душе разбитой тьма,

И красота меня уж больше не пленяет,

И даже — ты сама…[43]

У Байрона нет вопросительного знака после слов «То пресыщенье». Это я мысленно ставлю этот вопрос. Я думаю — неужели это пресыщенье?

Начинается литературный вечер.

КАФЕ «ДВЕНАДЦАТЬ»

Это кафе на Садовой, двенадцать. Я сижу здесь за столиком с моими товарищами.

Кругом пьяные крики, шум, табачный дым.

Играет скрипка.

Я бормочу стихи Блока:

Вновь сдружусь с кабацкой скрипкой…

Вновь я буду пить вино…

Все равно не хватит силы дотащиться до конца

С трезвой жалкою улыбкой, за которой

Страх могилы, беспокойство мертвеца…[44]

К нашему столику, неуверенно шагая, подходит человек. Он в черной бархатной блузе. На груди у него большой белый кисейный бант.

Лицо этого человека обсыпано пудрой.

Губы и брови подведены.

На лице улыбка — пьяная и немного оконфуженная. Кто-то говорит:

— Сережа, садись с нами.

Теперь я вижу, что это Есенин.

Он грузно садится за наш столик. Сердито смотрит на какого-то пьяного. Бормочет: «Дам, в морду… уходи…»

Я поглаживаю руку Есенина. Он успокаивается. Снова улыбается как-то сконфуженно и жалко.

За краской его намалеванного рта я вижу бледные губы.

Кто-то еще подходит к нашему столику.

Кто-то кричит: «Надо составить столы».

Начинают сдвигать столы.

Я выхожу на улицу.

У ГОРЬКОГО

Мы входим на кухню. На плите — большие медные кастрюли.

Мы проходим через кухню в столовую.

Навстречу нам идет Горький.

Что-то изящное в его бесшумной походке, в его движениях и жестах.

Он не улыбается, как это полагается хозяину, но лицо у него приветливое.

В столовой он садится за стол. Мы рассаживаемся на стульях и на низенькой пестрой тахте. Я вижу — Федина, Всеволода Иванова в солдатской шинели, Слонимского, Груздева.

Покашливая, Горький говорит о литературе, о народе, о задачах писателя.

Он говорит интересно и даже увлекательно. Но я почти не слушаю его. Я смотрю, как он чуть нервно барабанит пальцами по столу, как он улыбается едва заметно в свои усы. Я смотрю на его удивительное лицо — умное, грубоватое и совсем не простое.

Я смотрю на этого великого человека, у которого легендарная слава. Вероятно, это нехорошо, беспокойно, утомительно. Я бы не хотел этого.

Как бы в ответ на мои мысли Горький говорит, что его далеко не все знают, что вот на днях он ехал в машине и охрана задержала его. Он сказал, что он Горький, но один из охраны сказал: «Горький ты или сладкий — это нам безралично. Предъяви пропуск».

Горький чуть улыбается. Потом снова говорит о литературе, о народе, культуре.

Кто-то за моей спиной записывает то, что говорит Горький.

Мы встаем. Прощаемся.

Чуть прикоснувшись рукой к моему плечу Горький спрашивает:

— Что вы такой хмурый, мрачный? Почему?

В ответ я что-то бормочу о своем сердце.

— Это нехорошо, — говорит Горький. — Надо полечиться… Вы на днях зайдите ко мне — поговорим о ваших делах.

Мы снова идем через кухню. Выходим на лестницу.

Выходим на Кронверкский проспект — на проспект Горького.

ВСТРЕЧА

По бесконечным лестницам я хожу вверх и вниз. В руках у меня папка с бумагами, с бланками. В эти бланки я вписываю сведения о жильцах. Это — всесоюзная перепись населения.

Я взял эту работу, чтоб увидеть, как живут люди.

Я верю только своим глазам. Как Гарун аль Рашид,[45] я хожу по чужим домам. Я хожу по коридорам, кухням, захожу в комнаты. Я вижу тусклые лампочки, рваные обои, белье на веревке, ужасную тесноту, мусор, рвань. Да, конечно, только недавно миновали тяжелые годы, голод, разруха… Но все же я не думал, что увижу то, что увидел.

Я вхожу в полутемную комнату. На койке, на грязном тюфяке, лежит человек. Он неприветливо меня встречает. Даже не поворачивается ко мне.

Глядит в потолок.

— Где вы работаете? — спрашиваю я.

— Работают ослы и лошади, — говорит он. — Лично я не работаю и не собираюсь работать. Так и запишите в ваши паршивые бумаги… Можно приписать — хожу в клуб, играю в карты…

Он раздражен. Может быть, болен. Я хочу уйти, чтоб взять сведения у соседа. Уходя, я смотрю на него. Где-то я видел это лицо.

— Алеша! — говорю я.

Он садится на койке. Лицо у него небритое, хмурое.

Я вижу перед собой Алешу Н. — гимназического товарища. Он был старше меня классом. Это был чистюля, зубрила, первый ученик, маменькин сынок…

— Что случилось, Алеша? — бормочу я.

— Ровным счетом ничего не случилось, — говорит он.

Я вижу досаду на его лице.

— Может, я могу помочь тебе чем-нибудь.

— Абсолютно ничего не надо, — говорит он. — Впрочем, если у тебя есть деньги, — дай пятерку, схожу в клуб.

Я ему даю значительно больше, но он берет только пять рублей.

Через несколько минут я сижу на его койке, и мы с ним беседуем, как когда-то, десять лет назад.

— В сущности, история самая пошлая, — говорит он. — Ушла жена с одним прохвостом. Начал пить. Пропил все, что было. Потерял работу. Стал играть в клубе… А теперь, понимаешь, не хочется вернуться к тому, что было. Мог бы, но не хочу. Все ерунда, чушь, комедия, вздор, дым…

Я беру с него слово, что он зайдет ко мне.

НОЧЬЮ

На моей подушке лежат письма в редакцию «Красной газеты». Это жалобы на банные непорядки. Эти письма мне дали, чтоб я написал фельетон.

Я просматриваю эти письма. Они беспомощны, комичны. Но вместе с тем они серьезны. Еще бы! Речь идет о немаловажном житейском деле — о банях.

Набросав план, я принимаюсь писать. Уже первые строчки смешат меня. Я смеюсь. Смеюсь все громче и громче. Наконец хохочу так, что карандаш и блокнот падают из моих рук.

Снова пишу. И снова смех сотрясает мое тело.

Нет, в дальнейшем, переписывая рассказ, я уже не буду так смеяться. Но первая запись меня всегда невероятно смешит.

От смеха я чувствую боль в животе.

В стену стучит сосед. Он бухгалтер. Ему завтра рано вставать. Я мешаю ему спать. Он сегодня стучит кулаком. Должно быть, я его разбудил. Досадно.

Я кричу:

— Извините, Петр Алексеевич…

Снова берусь за блокнот. Снова смеюсь, уже уткнувшись в подушку.

Через двадцать минут рассказ написан. Мне жаль, что так быстро я его написал.

Я подхожу к письменному столу и переписываю рассказ ровным, красивым почерком. Переписывая, я продолжаю тихонько смеяться. А завтра, когда буду читать этот рассказ в редакции, я уже смеяться не буду. Буду хмуро и даже угрюмо читать.

Два часа ночи. Я ложусь. Но долго не могу заснуть. Обдумываю темы новых рассказов.

Светает. Я принимаю бром, чтоб заснуть.

СНОВА ЧЕПУХА

Редакция толстого журнала «Современник».

Я дал в этот журнал пять самых лучших маленьких рассказов. И вот пришел за ответом.

Передо мной один из редакторов — поэт М. Кузмин.[46] Он изысканно вежлив. Даже сверх меры. Но по его лицу я вижу, что он намерен мне сообщить нечто неприятное.

Он мнется. Я выручаю его.

— Вероятно, мои рассказы не совсем в плане журнала? — говорю я.

Он говорит:

— Понимаете, у нас толстый журнал… А ваши рассказы… Нет, они очень смешны, забавны… Но они написаны… Ведь это…

— Чепуха — вы хотите сказать? — спрашиваю я. И в моем мозгу загорается надпись под гимназическим сочинением — «Чепуха».

Кузмин разводит руками.

— Боже сохрани. Я вовсе не хочу этого сказать. Напротив. Ваши рассказы очень талантливы… Но согласитесь сами — это немножко шарж.

— Это не шарж, — говорю я.

— Ну, взять хотя бы язык…

— Язык не шаржирован. Это синтаксис улицы… народа… Быть может, я немного утрировал, чтоб это было сатирично, чтоб это критиковало…

— Не будем спорить, — говорит он мягко. — Вы дайте нам обыкновенную вашу повесть или рассказ… И поверьте — мы очень ценим ваше творчество.

Я ухожу из редакции. У меня уже нет тех чувств, какие я когда-то испытывал в гимназии. У меня нет даже досады.

«Бог с ним, — думаю я. — Обойдусь без толстых журналов. Им нужно нечто «обыкновенное». Им нужно то, что похоже на классику. Это им импонирует. Это сделать весьма легко. Но я не собираюсь писать для читателей, которых нет. У народа иное представление о литературе».

Я не огорчаюсь. Я знаю, что я прав.

В ПИВНОЙ

День. Солнце. Я иду по Невскому. Навстречу идет С. Есенин.

Он в элегантном синем пальто с поясом. Без шляпы.

Лицо у него бледное. Глаза потухшие. Он медленно идет. Что-то бормочет. Я подхожу к нему.

Он хмур, неразговорчив. Какое-то уныние во всем его облике.

Я хочу уйти, но он не отпускает меня.

— Вам нехорошо? Вы нездоровы? — спрашиваю я его.

— А что? — тревожно спрашивает он. — У меня плохой вид?

И вдруг смеется. Говорит:

— Старею, милый друг… Скоро ударит тридцать…

Мы доходим до Европейской гостиницы. Минуту Есенин стоит у подъезда, потом говорит:

— Зайдемте напротив. В пивную. На минуту.

Мы входим в пивную.

За столиком поэт В. Воинов[47] с друзьями. Он радостно идет нам навстречу. Мы садимся за его столик. Кто-то разливает пиво по кружкам.

Есенин что-то говорит официанту. И тот приносит ему стакан рябиновки.

Закрыв глаза, Есенин пьет. И я вижу, как с каждым глотком к нему возвращается жизнь. Щеки его делаются ярче. Жесты уверенней. Глаза зажигаются.

Он хочет снова позвать официанта. Чтобы отвлечь, я прошу его почитать стихи…

Он соглашается почему-то с готовностью и даже с радостью.

Встав со стула, он читает поэму «Черный человек».

Вокруг столика собираются люди. Кто-то говорит: «Это Есенин».

Нас окружает почти вся пивная.

Еще минута, и Есенин стоит на стуле и, жестикулируя, читает свои короткие стихи.

Он чудесно читает и с таким чувством и с такой болью, что это всех потрясает.

Я видел многих поэтов на эстраде. Я видел их необычайный успех, видел овации, восторг всего зала, но я никогда не видел таких чувств и такой теплоты, как к Есенину.

Десятки рук подхватывают его со стула и несут к столику. Все хотят чокнуться с ним. Все хотят дотронуться до него, обнять, поцеловать…

Тесным кольцом толпа окружает столик, за которым он теперь сидит.

Я выхожу из пивной.

Я САМ ВИНОВАТ

Вечер. Я иду по Невскому с К. Я познакомился с ней в Кисловодске. Она красива, остроумна, весела. В ней та радость жизни, которой нет во мне. И, может быть, это меня больше всего в ней прельщает.

Мы идем, нежно взявшись за руки. Мы выходим на Неву. Идем по темной набережной.

К. без конца что-то говорит. Но я не очень вникаю в ее речь. Я слушаю ее слова, как музыку. Но вот я слышу какое-то недовольство в этой музыке. Я прислушиваюсь.

— Вторую неделю мы ходим с вами по улицам, — говорит она. — Мы обошли все эти дурацкие набережные, сады. Мне просто хотелось бы посидеть с вами в какой-нибудь гостиной, поболтать, выпить чаю.

— Зайдемте в кафе, — говорю я.

— Нет, там нас могут увидеть.

Ах, да. Я совсем забыл. У нее сложная жизнь. Ревнивый муж, очень ревнивый любовник. Много врагов, которые сообщат, что нас видели вместе.

Мы останавливаемся на набережной. Обнимаем друг друга. Целуемся. Она бормочет:

— Ах, как глупо, что это улица.

Мы снова идем и снова целуемся. Она закрывает свои глаза рукой. У нее кружится голова от этих бесконечных поцелуев.

Мы доходим до ворот какого-то дома. К. бормочет:

— Я должна зайти сюда, к портнихе. Вы подождите меня здесь. Я только примерю платье и сейчас же вернусь.

Я хожу около дома. Хожу десять минут, пятнадцать, наконец она появляется. Веселая. Смеется.

— Все хорошо, — говорит она. — Получается очень милое платье. Оно очень скромное, без претензий.

Она берет меня под руку и я провожаю ее до дома.

Я встречаюсь с ней через пять дней. Она говорит:

— Если хотите, сегодня мы можем встретиться с вами в одном доме — у одной моей знакомой.

Мы подходим к какому-то дому. Я узнаю этот дом. Здесь, у ворот, я ждал ее двадцать минут.

Это дом, где живет ее портниха.

Мы поднимаемся на четвертый этаж. Она открывает квартиру своим ключом. Мы входим в комнату. Это хорошо обставленная комната. Непохоже, что это комната портнихи.

По профессиональной привычке я перелистываю книжку, которую я нахожу на ночном столике. На заглавном листке я вижу знакомую мне фамилию. Это фамилия возлюбленного К.

Она смеется.

— Да, мы в его комнате, — говорит она, — Но вы не беспокойтесь. Он на два дня уехал в Кронштадт.

— К., — говорю я, — я беспокоюсь о другом. Значит, тогда вы были у него?

— Когда? — спрашивает она.

— Тогда, когда я ждал вас у ворот двадцать минут.

Она смеется. Закрывает мой рот поцелуем. Говорит:

— Вы были сами виноваты.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ СЕНТЯБРЯ

Окно моей комнаты выходит на угол Мойки и Невского.

Я подхожу к окну. Необыкновенная картина: река вздулась, почернела. Еще полметра — и вода выйдет из берегов.

Я бегу на улицу.

Ветер. Неслыханный ветер дует с моря.

Я иду по Невскому. Я взволнован и возбужден. Дохожу до Фонтанки. Фонтанка почти сравнялась с мостовой. Кое-где вода плещется на тротуаре.

Я вскакиваю в трамвай и еду на Петроградскую сторону. Там живет моя семья — жена и крошечный сын. Они живут у своих родных. Я переехал в Дом искусств, чтоб крики мдаденца не мешали моей работе.

Теперь я спешу к ним. Они живут в первом этаже на Пушкарской. Быть может, им нужно перебраться во второй этаж.

Трамвай въезжает на Александровский проспект. Мы едем по воде. Останавливаемся. Дальше ехать нельзя. Деревянные торцы всплыли и мешают трамваю двигаться.

Пассажиры соскакивают в воду. Здесь не глубоко — до колена.

Я иду по воде и дохожу до Большого проспекта. На проспекте еще нет воды.

Я почти бегу на Пушкарскую. Вода не дошла сюда.

Мои встревожены и взволнованы. Они очень рады, что я пришел и теперь с ними.

Переодевшись, я снова иду на улицу. Мне хочется увидеть — прибывает ли вода.

Я выхожу на Большой проспект. Покупаю хлеб в булочной. Подхожу к Введенской. Сухо.

И вдруг необычайная картина — вода выступает изо всех люков и стремительно заливает мостовую. Снова по воде я иду домой.

Вода уже на ступеньках лестницы.

С узлами мы переходим во второй этаж.

На ступеньках лестницы я делаю отметки мелом, чтоб видеть, как идет повышение.

15 пять часов дня вода уже плещется у дверей.

Темнеет. Я сижу у окна и прислушиваюсь к завыванию ветра.

Теперь почти весь город в воде. Вода поднялась почти на две сажени.

На темном небе зарево каких-то пожаров.

Светает. Из окна я вижу, как вода постепенно уходит.

Я выхожу на улицу. Ужасное зрелище. На проспеке барка с дровами. Бревна. Лодки. На боку лежит суденышко с мачтой.

Всюду разгром, хаос, разрушение.

ПОЕЗД ОПОЗДАЛ

Аля пришла ко мне запыхавшись. Она сказала:

— Еле отпустил… Я говорю: «Ну пойми, Николай, — я же должна проводить мою лучшую подругу — она уезжает в Москву и неизвестно когда вернется…»

Я спросил Алю:

— Когда поезд уходит с твоей подругой?

Она засмеялась, захлопала в ладоши.

— Вот видишь, — сказала она, — и ты поверил… Никто не уезжает. Это я выдумала, чтобы прийти к тебе.

— Поезд в Москву уходит в десять тридцать, — сказал я. — Значит, ты должна бы дома около одиннадцати.

Было уже двенадцать, когда она взглянула на часы. Она вскрикнула. Подбежала к телефону, даже не надев туфли.

Сняв трубку, она села в кресло. Она дрожала от холода и от волнения.

Я бросил ей плед. Она прикрыла пледом свои ноги.

Она была удивительно хороша — почти как на картине Ренуара.

— Зачем ты звонишь? — сказал я ей. — Лучше скорей оденься и иди.

Она с досады махнула рукой в мою сторону.

— Николаша, — сказала она в трубку, — представь себе, поезд опоздал и только что ушел. Через десять минут я буду дома.

Я не знаю, что сказал ее муж, но она ответила:

— Я же тебе русским языком говорю — поезд ушел. Сейчас буду дома.

Должно быть, муж сказал, что уже двенадцать.

— Разве? — сказала она, — Ну, не знаю, как на твоих часах, а здесь, на вокзальных…

Она закинула свою голову вверх и посмотрев на мой потолок.

— Здесь, на вокзальных, — повторила она ровно одиннадцать.

Она прищурила свои глаза, как бы всматриваясь в далекие вокзальные часы.

— Да, — сказала она, — ровно одиннадцать, даже две минуты двенадцатого. У тебя архиерейские часы…

Повесив трубку, она стала смеяться. Сейчас эта маленькая кукла, набитая опилками, была бы самая желанная гостья у меня. Но тогда я на нее рассердился. Я сказал:

— Зачем же так бесстыдно врать? Он проверит свои часы и увидит твое вранье.

— Зато он поверил, что я на вокзале, — сказала она, подкрашивая губы.

Подкрасив губы, она добавила:

— А потом — что за нотации! Я вовсе не желаю этого слушать. Я сама знаю, как мне поступать. Он бегает с револьвером, грозит убить моих друзей и меня в том числе… Кстати, он не посчитается, что ты писатель… Я уверена, что он и в тебя великолепно выстрелит.

Я что-то буркнул в ответ.

Одевшись, она сказала:

— Ну что, рассердился? Может быть, мне не приходить больше?

— Как хочешь, — ответил я.

— Да, я больше к тебе не приду, — сказала она. — Я вижу, что ты совершенно меня не любишь.

Она ушла, надменно кивнув мне головой. Она сделала это великолепно для своих девятнадцати лет.

Боже мой, как плакал бы я теперь! А тогда я был доволен. Впрочем, через месяц она вернулась.

ЗА СТОЛИКОМ

Москва. Я сижу за столиком в каком-то театральном клубе. На моем столике — второй прибор. Это будет ужинать Маяковский. Он заказал еду и пошел сыграть на бильярде. Сейчас вернется.

Я почти не знаю Маяковского. Мы встречались только на вечерах, в театре, на людях.

Вот он подходит к столику. Он дышит тяжело. Лицо у него невеселое. Он мрачен. Платком вытирает лоб.

Он выиграл партию, но это его не развлекло. Он садится за столик как-то грузно, тяжело.

Мы молчим. Почти не разговариваем. Я наливаю ему пива. Он отпивает один глоток и отставляет стакан.

Я тоже мрачен. И мне не хочется искусственно завязывать разговор. Но Маяковский для меня мэтр. Я почти новичок в литературе, работаю всего пять лет. Мне как-то совестно, что я молчу. Я начинаю что-то бормотать о бильярде, о литературе.

Мне с ним почему-то удивительно нелегко.

Я говорю нескладно, вяло. И на полуслслове смолкаю. Неожиданно Маяковский смеется.

— Нет, послушайте, — говорит он, — это мне просто нравится. Я думал, что вы будете острить, шутить, балагурить, а вы… Нет, это просто здорово! Просто поразительно здорово…

— Почему же я должен острить?

— Ну — юморист… Полагается… А вы…

Он смотрит на меня немного тяжелым взгдом. У него удивительно невеселые глаза. Какой-то мрачный огонь в них.

— А почему вы… такой? — спрашивает он.

— Не знаю. Сам ищу причину…

— Да? — спрашивает он настороженно. — Вы полагаете, есть причина? Больны?

Мы начинаем говорить о болезнях. Маяковский насчитывает у себя несколько недомоганий — с легкими что-то нехорошо, желудок, печень. Он не может пить и даже хочет бросить курить.

Я замечаю еще одно недомогание Маяковского — он мнителен даже больше, чем я. Он дважды вытирает салфеткой свою вилку. Потом вытирает ее хлебом. И, наконец, вытирает ее платком. Край стакана он тоже вытирает платком.

К нашему столику подходит знакомый актер. Наш разговор прерывается. Маяковский говорит мне:

— Я вам позвоню в Ленинграде.

Я даю ему свой телефон.

ВЫСТУПЛЕНИЕ

Я согласился на выступления в нескольких городах. Это был несчастный день в моей жизни.

Первое выступление было в Харькове, потом в Ростове.

Я был озадачен. Меня встречали бурей аплодисментов, а провожали, едва хлопая. Значит, чем-то я не угождаю публике, чем-то ее обманываю. Чем?

Это правда, я читаю не по-актерски, однотонно, иной раз вяло. Но неужели на мой вечер приходят только как на вечер «юмориста»? В самом деле. Может, думают: если актеры так смешно читают, то что же отколет сейчас сам автор. Каждый вечер превращается для меня в пытку. С трудом я выхожу на эстраду. Сознание, что я сейчас снова обману публику, еще более портит мое настроение. Я раскрываю книгу и бормочу какой-то рассказ.

Кто-то сверху кричит:

— «Баню» давай… «Аристократку»… Чего ерунду читаешь?

«Боже мой! — думаю я. — Зачем я согласился на эти вечера?»

Я с тоской поглядываю на часы.

На сцену летят записки. Это передышка для меня. Я закрываю книгу.

Разворачиваю первую записку. Оглашаю:

— «Если вы автор этих рассказов, то зачем вы их читаете?»

Я раздражен. Кричу в ответ:

— А если вы читатель этих рассказов, то какого лешего вы их слушаете!

В публике смех, аплодисменты.

Я раскрываю вторую записку:

— «Чем читать то, что мы все знаем, расскажите покомичней, как вы к нам доехали».

Бешеным голосом я кричу:

— Сел в поезд. Родные плакали, умоляли не ехать. Говорили: замучают идиотскими вопросами.

Взрыв аплодисментов. Хохот.

Ах, если б мне сейчас пройтись на руках по сцене или прокатиться на одном колесо — вечер был бы в порядке.

Устроитель моих вечеров шепчет мне из-за кулис:

— Расскажите что-нибудь о себе. Это нравится публике.

Покорно я начинаю рассказывать свою биографию.

На сцену снова летят записки:

«Вы женаты?.. Сколько у вас детей?.. Знакомы ли вы с Есениным?..»

Без четверти одиннадцать. Можно кончать.

Печально вздохнув, я ухожу со сцены под жидкие аплодисменты.

Я утешаюсь тем, что это не мои читатели. Я утешаюсь тем, что это зрители, которые с одинаковым рвением явились бы на вечер любого комика и жонглера.

Не выполнив договор до конца, я уезжаю в Ленинград.

ЗВЕРИ

Я брожу по дорожкам Ленинградского зоологического сада.

В клетке — великолепный огромный тигр. Рядом с ним небольшая белая собачонка — фокстерьер. Она выкормила этого тигра. И теперь, на правах матери, находится с ним в одной клетке.

Тигр дружелюбно поглядывает на нее.

Изумительное зрелище.

Вдруг позади себя я слышу ужасающий крик.

Вся публика бежит к клетке, в которой находится бурые медведи.

Мы видим ужасную сцену. Рядом с бурыми медведями клетка с медвежатами. Кроме железных прутьев, обе клетки разделены досками.

Маленький медвежонок полез по этим доскам наверх, но его лапчонка попала в расщелину. И теперь бурый медведь яростно терзает эту маленькую лапку.

Вырываясь и крича, медвежонок попадает второй лапой в расщелину. Теперь второй медведь берется за эту лапу.

Оба они терзают медвежонка так, что кто-то из публики падает в обморок.

Песком и камнями мы стараемся отогнать медведей. Но они приходят в еще большую ярость. Уже одна лапчонка с черными коготками валяется на полу клетки.

Я беру какой-то длинный шест и бью этим шестом медведя.

На ужасный крик и рев медведей бегут сторожа, администрация.

Медвежонка отрывают от досок.

Бурые медведи яростно ходят по клетке. Глаза у них налиты кровью. И морды их в крови. Рыча, самец покрывает самку.

Несчастного медвежонка несут в контору. У него оторваны передние лапы.

Он уже не кричит. Вероятно, его сейчас застрелят. Я начинаю понимать, что такое звери. И в чем у них разница с людьми.

ВРАГИ

Воскресенье. Я иду по улице. Кто-то вскрикивает: «Миша!» Я вижу женщину. Она одета простенько, в руках у нее кошелка с провизией.

— Миша, — повторяет женщина, и слезы текут из ее глаз.

Передо мной сестра Нади В. — Катя.

— Боже мой, — бормочет она, — это вы… это, вы…

Мое сердце ужасно колотится.

— Разве вы не уехали? — спрашиваю я. — А где Надя? Ваши?

— Надя и Маруся в Париже… Идемте ко мне, я вам все расскажу… Только не удивляйтесь — я живу очень скромно… Мой муж очень хороший человек… Он уважает и жалеет меня… Он простой рабочий…

Мы входим в маленькую комнату. Из-за стола поднимается человек. Ему лет горок. Поздоровавшись, он тотчас надевает свое пальто и уходит.

— Вот видите, какой он хороший, деликатный, — говорит Катя. — Он сразу понял, что нам нужно поговорить.

Мы садимся на диван. Волнение душит нас. Катя начинает плакать. Она так плачет, что кто-то, открыв двери, спрашивает, что случилось.

— Ничего! — резко кричит Катя.

Рыдания снова потрясают ее. Она, вероятно, плачет о том, что было. Вероятно, она во мне видит прошлое. Свою юность, свои детские годы. Я успокаиваю ее.

Подойдя к умывальнику, она вытирает свое отплаканное лицо, громко сморкается.

Затем начинает рассказывать. В семнадцатом году они уехали на юг, чтоб пробраться на Кавказ и оттуда за границу. Но в Ростове отец заболел сыпным тифом. Ждать нельзя было. Оставались считанные дни. Сестры бросили жребий — кому остаться с отцом. Осталась Катя. Она очень бедствовала, когда умер отец. Она служила уборщицей, потом домработницей. Потом ей удалось уехать в Ленинград. Но здесь ей было не легче — она не имела ни квартиры, ни друзей.

— Почему же вы не обратились ко мне? — спрашиваю я. — Должно быть, вы слышали обо мне…

— Да. Но я никак не думала, что это вы.

Катя стала говорить о сестрах. Старшая пишет, а Надя нет. Она ненавидит все, что осталось в России.

— А если я ей напишу? — спрашиваю я.

Катя говорит:

— Вы знаете Колю М. Вы помните, как он ее любил. Он написал ей. Она прислала ему открытку, в которой было три слова:

«Теперь мы враги».

Мы расстались с Катей. Я обещал к ней заходить.

ЭТО ВОЗМУТИТЕЛЬНО

Пришла Аля. Лицо у нее бледное, и в глазах тоска. Молча она развернула пестрый шарфик, повязанный вокруг шеи. Слегка откинула голову.

На ее шее я увидел пять синих пальцев. Вероятно, кто-то ее душил. Я вскрикнул:

— Аля, что случилось?

Она глухо сказала:

— Николай все узнал. Он хотел задушить меня, но я подняла такой крик, что сбежались люди.

Она стала плакать. Сквозь слезы она сказала:

— Ах, зачем я приходила к тебе! Вот теперь кончилась моя спокойная жизнь. К нему уже я не вернусь. Я перееду к маме и буду изредка приходить к тебе.

Я поставил согревающий компресс на ее шею и, взяв машину, отвез Алю к маме.

Я был необычайно взволнован. Я не помню, на что я рассчитывал, но в тот же вечер я пошел к ее мужу. К моему удивлению, он встретил меня спокойно.

Я сказал ему:

— Я не ожидал от вас такой гадости. Вы могли бы расстаться с ней, уйти… Но душить эту маленькую девочку… Это возмутительно…

Я думал, что он будет кричать на меня, может быть, даже выгонит. Но он не двигаясь сидел в кресле, низко опустив голову.

Он тихо сказал:

— Она довела меня до сумасшествия… Я подозревал, что она неверна мне… Но вчера в ее сумочке я нашел вот эту записку. Полюбуйтесь…

Он швырнул записку на стол. Она была адресована в театр актеру Н., с которым я несколько раз видел Алю на улице.

Записка не оставляла никаких сомнений — она была интимна в высшей степени.

Я был поражен, даже потрясен. Я был так потрясен, что сначала даже не сообразил, что обо мне муж ничего не знает и что речь идет об актере.

Я растерянно взглянул на мужа. Не менее растерянно он посмотрел на меня.

— А собственно, какое вам до этого дело? — спросил он. — Вы что, ее видели сегодня? Она была у вас?.. Разве она бывала у вас раньше?

В его глазах я вдруг прочел догадку.

Я закрыл рукой свои глаза.

— Боже мой! — закричал он. — Значит, она… значит, вы… — У него вдруг хватило чувства иронии — усмехнуться. Почти спокойно он сказал: — Значит, она и вас обманула… Это здорово…

Мы расстались холодно. Почти не прощаясь.

Я шел домой, как в бреду. В моей голове был хаос. Мне хотелось решить вопрос, почему именно ко мне она пришла со своими синяками. Потом я успокоился на том, что до меня она с этими синяками была у актера.

ХОРОШО

Я пробую работать — не могу. Ложусь на диван — через минуту вскакиваю. Я испытывай какое-то нервное состояние, которое не позволяв мне даже несколько минут быть спокойным.

Я снова сажусь за стол. Я заставлю себя сидеть спокойно! Заставлю себя работать. Хотя бы мне это стоило жизни.

Беру карандаш. Пишу. Но мысли у меня вялы! Фантазии нет. Фразы бледные. Что-то случилось в моей душе. Я что-то потерял. Погас какой-то огонь. Перестала играть музыка, под которую плясала моя жизнь, моя работа…

Я сижу у стола, уронив голову на руки.

Ко мне приходят строчки из Байрона.

И гений мой поблек, как лист осенний,

В фантазии уж прежних крыльев нет.

И горестной действительности сила

Мой романтизм в злой юмор превратила.[48]

Я с яростью ломаю карандаш и рву бумагу. Выхожу на улицу. Чудесная осень. Желтые листья. Синее небо. Может быть, ходьба приводет меня в равновесие.

Я прохожу мимо деревянного домика. На ступеньках сидит дряхлый старик. Он сидит на солнышке. Он сидит удивительно спокойно. Глаза у него закрыты. Я вижу тихую и блаженную улыбку на его морщинистом лице.

Но ведь ему не меньше восьмидесяти лет! Быть может, у него остался всего год жизни, а он так спокойно, так блаженно сидит.

Почему же я, мальчишка в сравнения с ним, должен дергаться, вскакивать, волноваться, бегать? Я желаю так же спокойно, с такой же блаженной душой сидеть на крыльце. Почему мне недоступно это маленькое счастье?

Старик открывает глаза. Смотрит на меня.

— Хорошо! — говорит он.

Понуро я иду дальше.

БЕЗУМИЕ

В мою комнату входит человек. Он садится в кресло.

Минуту он сидит молча, прислушиваясь. Потом встает и плотно прикрывает дверь.

Подходит к стене и, приложив к ней ухо, слушает.

Я начинаю понимать, что это сумасшедший.

Послушав у стены, он снова садится в кресло и двумя руками закрывает свое лицо. Я вижу, что он и отчаянии.

— Что с вами? — спрашиваю я.

— За мной гонятся, — говорит он. — Я сейчас ехал в трамвае и ясно слышал голоса: «Вот он… берите его… хватайте…»

Он снова закрывает лицо руками. Потом тихо говорит:

— Только вы один можете меня спасти…

— Каким образом?

— Мы поменяемся с вами фамилией. Вы будете Горшков, а я — поэт Зощенко. (Он так и сказад — «поэт».)

— Хорошо. Я согласен, — говорю я.

Он бросается ко мне и пожимает мою руку.

— А кто же за вами гонится? — спрашиваю я.

— Этого я не могу сказать.

— Но я же должен знать с тех пор, как я ношу вашу фамилию.

Заламывая свои руки, он говорит:

— В том-то и дело, что я сам не знаю. Я только слышу их голоса. И ночью вижу их руки. Они тянутся ко мне со всех сторон. Я знаю — они схватят меня и задушат.

Его нервный озноб передается мне. Я чувствую себя нехорошо. У меня кружится голова. Перед глазами круги. Если он сейчас не уйдет, я, вероятно, потеряю сознание. Он действует на меня убийственно.

Собравшись с силами, я бормочу:

— Идите. Теперь у вас моя фамилия. Вы можете быть спокойны.

С просветленным лицом он уходит.

Я — ложусь в постель и чувствую, как ужасающая тоска охватывает меня.

В ГОСТИНИЦЕ

Туапсе. Маленький номер гостиницы. Я почему-то лежу на полу. Руки у меня раскинуты. И пальцы рук в воде.

Это дождевая вода. Сейчас прошла гроза. Мне не хотелось подняться, чтоб закрыть окно. Это потоки дождя попали в комнату.

Я снова закрываю глаза и до вечера лежу в каком-то оцепенении.

Вероятно, следует перебраться на кровать. Там удобней. Подушка. Но мне не хочется подняться с полу.

Не поднимаясь, я протягиваю руку к чемодану и достаю яблоко. Я сегодня опять ничего не ел.

Я откусываю яблоко. Я жую его, как солому. Выплевываю.

Неприятно. Я лежу до утра.

Утром кто-то стучит в дверь. Дверь на ключе. Я не открываю. Это уборщица. Она хотела бы убрать комнату. Хотя бы раз в три дня. Я говорю:

— Ничего не надо. Уходите.

Днем я встаю с трудом. Сажусь на стул.

Тревога охватывает меня. Я понимаю, что так не может дальше продолжаться. Я погибну в этом жалком номере, если немедленно не уеду отсюда.

Открыв чемодан, я лихорадочно собираю вещи. Потом зову горничную.

— Я заболел, — говорю я ей. — Меня нужно проводить на вокзал, достать мне билет… Скорей…

Горничная приводит администрацию и врача. Поглаживая мою руку, врач говорит:

— Нервы… Только нервы… Я вам выпишу бром…

— Мне нужно немедленно уехать, — бормочу я.

— Вы сегодня уедете, — говорит директор гостиницы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И вот мои воспоминания закончены. Я дошел до 1926 года. Вплоть до тех дней, когда я перестал есть и чуть не погиб. Передо мной шестьдесят три истории. Шестьдесят три происшествия, которые меня когда-то взволновали.

Каждую историю я стал тщательно пересматривать. В какой-нибудь из них я надеялся найти причину моей тоски, моих огорчений, моей болезни.

Но я ничего особенного не увидел в этих историях.

Да, конечно, некоторые из них тягостны. Но не более тягостны, чем это привыкли испытывать люди. У каждого умирает мать. Каждый когда-нибудь покидает дом. Расстается с возлюбленной. Сражается на фронте…

Нет, ни в одной из этих историй я не нашел того, что искал.

Тогда все эти истории я сложил вместе. Я хотел увидеть общую картину, общий аккорд, который, быть может, оглушил меня, как рыбу, которую вынули из воды и бросили в лодку.

Да, конечно, огромные потрясения выпали на мою жизнь. Перемена судьбы. Гибель старого мира. Рождение новой жизни, новых людей, страны.

Но ведь я-то не видел в этом катастрофы! Ведь я же сам стремился увидеть в этом солнце! Ведь и до этих событий тоска преследовала меня. Значит, это не решало дела. Стало быть, это не являлось причиной. Напротив, это помогло мне заново увидеть мир, страну, народ, для которого я стал работать… Тоски не должно быть в моем сердце! А она есть…

Я был обескуражен. Кажется, я задал себе непосильную задачу — найти причину моей тоски, найти несчастное происшествие, которое сделало меня жалкой пылинкой, гонимой любым житейским ветром.

Может быть, это происшествие лежит в более раннем возрасте? — подумал я. Может быть, детские годы подготовили зыбкую почву, по которой я теперь хожу спотыкаясь?

В самом деле! Почему я отбросил детские годы? Ведь это же первое знакомство с миром, первые впечатления, а стало быть, и самые глубокие. Как можно было не посчитаться с этим!

Нет нужды и тут все вспоминать, подумал я. Достаточно вспомнить только самое яркое, самое сильное, только то, что было связано с моим душевным волнением.

И тогда с лихорадочной поспешностью я стал вспоминать происшествия детских лет. И увидел, что и в детские годы душевное волнение необычайным светом осветило то, что произошло.

Это снова были моментальные снимки, с ослепительной силой оставшиеся в моем мозгу.

И вот, вспоминая эти детские истории, я увидел, что они волнуют меня еще больше, чем истории взрослых лет. Я увидел, что они волнуют меня значительно больше, чем даже желание найти причину моих несчастий.

IV. СТРАШНЫЙ МИР

Только в сказке блудный сын возвращается в отчий дом.[49]

Итак, я стал вспоминать самые яркие сцены из моего детства.

Среди этих сцен, связанных с душевным волнением, я надеялся найти несчастное происшествие, надеялся найти причину и объяснение моей ужасной тоски.

«С какого же возраста мне начать?» — подумал я.

Комично начать с года. Комично вспоминать то, что было в два и в три года. И даже в четыре. Подумаешь, великие дела произошли в столь мелком возрасте. Побрякушку отняли. Соску в горшок уронил. Петуха испугался. Мамаша нашлепала по заднице… Что ж вспоминать об этих мизерных делах, о которых, кстати сказать, я почти ничего не помню.

Я должен начать с пяти лет, подумал я.

И тогда стал вспоминать то, что случилось, в моей жизни с пяти до пятнадцати лет.

И вот, перебирая в памяти истории этих лет, я неожиданно почувствовал страх и даже какой-то трепет. Я подумал: значит, я на верном пути. Значит, рана где-то близко. Значит, теперь я найду это печальное происшествие, испортившее мне мою жизнь.

С 5 ДО 15 ЛЕТ

Скорее сбросить тягостную память

Моих воображаемых обид…[50]

Я БОЛЬШЕ НЕ БУДУ

На столе тарелка. На тарелке винные ягоды. Забавно жевать эти ягоды. В них множество косточек. Они славно хрустят на зубах. За обедом нам дали только лишь по две такие ягоды. Это чересчур мало для детей.

Я влезаю на стул. Решительным жестом пододвигаю к себе тарелку. И откусываю одну ягоду.

Так и есть — множество косточек. Интересно, во всех ли ягодах то же самое?

Перебирая ягоды, я откусываю от них по кусочку. Да, все то же самое.

Конечно, это нехорошо и я не должен этого делать. Но ведь я съедаю не всю ягоду. Я откусыпаю только небольшой кусочек. Почти вся ягода остается в распоряжении взрослых…

Откусив от всех ягод по кусочку, я спускаюсь со стула и хожу вокруг стола.

Приходят отец и мать.

— Я не ел винные ягоды, — говорю я им тотчас. — Я только откусил по кусочку.

Взглянув на тарелку, мать всплескивает руками. Отец смеется. Но он хмурится, когда я гляжу на него.

— Пойдем, я тебя немножко попорю, — говорит мать, — чтоб ты лучше помнил о том, что не следует делать.

Она тащит меня к кровати. И берет тонкий поясок.

Плача и рыдая, я кричу:

— Я больше не буду.

НЕ НАДО СТОЯТЬ НА УЛИЦЕ

Я стою у ворот нашего дома. Не у самых ворот, а у тумбы.

Дальше тумбы я не иду. Нельзя. Может задавить извозчик.

Вдруг я вижу — на меня катится двухколесный велосипед, на котором сидит человек в кепке.

Что ж он не звонит? Велосипедисты должны звонить, когда наезжают на людей. Я отбегаю в сторону. Но велосипед снова катится на меня.

Секунда — и человек в кепке падает. И падаю я. И велосипед падает на меня.

Из моего носа хлещет кровь.

Увидев кровь, я начинаю так орать, что сбегаются люди. Даже прибегает одноногий газетчик, который стоит на нашем углу.

Расталкивая людей, прибегает моя мать.

Увидев, что я лежу, она бьет по щеке велосипедиста так, что у того с головы падает кепка.

Потом она хватает меня на руки и несет по лестнице.

На лестнице она осматривает и ощупывавает меня. Все цело.

Только из носа течет кровь и на ноге ссадина.

Мать говорит:

— Жалко, я не знала, что он тебе ногу повредил. Я бы ему оторвала голову.

Папа говорит мне:

— Ты сам виноват. Не надо стоять на улице.

ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ

На подоконнике банка с золотыми рыбками.

В банке плавают две рыбешки.

Я бросаю им крошки сухаря. Пусть покушают. Но рыбки равнодушно проплывают мимо.

Должно быть, им здорово плохо, что они не кушают. Еще бы, целые дни в воде. Вот если бы они просто лежали на подоконнике, тогда, может быть, у них появился бы аппетит.

Засунув руку в банку, я вытаскиваю рыбешек и кладу их на подоконник. Нет, тут им тоже неважно. Они бьются. И тоже отказываются от еды.

Я снова бросаю рыбешек в воду.

Однако в воде им еще хуже. Посмотрите, они даже плавают теперь брюшком вверх. Должно быть, просятся из банки.

Я снова вытаскиваю рыбешек и кладу их в папиросную коробку.

Через полчаса я открываю коробку. Рыбки околели.

Мамаша сердито говорит:

— Зачем ты это сделал?

Я говорю:

— Я хотел, чтоб им было лучше.

Мать говорит:

— Не притворяйся идиотиком. Рыбки созданы, чтобы жить в воде.

Я горько плачу от обиды. Я сам знаю, что рыбки созданы жить в воде. Но я хотел избавить их от этого несчастья.

В ЗООЛОГИЧЕСКОМ САДУ

Мать держит меня за руку. Мы идем по дорожке.

Мать говорит:

— Зверей потом посмотрим. Сначала будет состязание для детей.

Мы идем на площадку. Там множество детей. Каждому ребенку дают мешок. Надо влезть в этот мешок и завязать его на груди.

Вот мешки завязаны. И дети в мешках поставлены на белую черту.

Кто-то машет флагом и кричит: «Бегите!» Путаясь в мешках, мы бежим. Многие дети падают и ревут. Некоторые из них поднимаются и с плачем бегут дальше. Я тоже чуть не падаю. Но потом, ухитрившись, быстро передвигаюсь в этом своем мешке.

Я первый подхожу к столу. Играет музыка. И все хлопают. И мне дают коробку мармелада, флажок и книжку с картинками.

Я подхожу к матери, прижимая подарки к своей груди.

На скамейке мама приводит меня в порядок. Она причесывает мне волосы и платком вытирает мое запачканное лицо.

После этого мы идем смотреть обезьян.

Интересно, кушают ли обезьяны мармелад? Надо их угостить.

Я хочу угостить обезьян мармеладом, но вдруг вижу, что в моих руках нет коробки…

Мама говорит:

— Наверное, мы коробку оставили на скамейке.

Я бегу к скамейке. Но там уже нет моей коробки с мармеладом.

Я плачу так, что обезьяны обращают на меня внимание.

Мама говорит:

— Наверное, украли нашу коробку. Ничего. Я тебе куплю другую.

— Я эту хочу! — кричу я так громко, что тигр вздрагивает и слон поднимает хобот.

НА БЕРЕГУ

Мы на даче. Играем на берегу. Вдруг моя старшая сестра Леля кричит:

— Господа, Юля потонула!

Я смотрю но сторонам. Действительно, нигде нет моей младшей сестренки Юли.

Леля кричит:

— Так и есть! Вот ее шляпа плывет по воде.

Что есть духу я бегу к нашей даче. Кричу:

— Мама! Юля утонула.

Мама бежит к реке так, что я еле поспеваю за ней.

Увидев, что Юлина шляпа плывет по воде, мама падает в обморок.

В это время Леля кричит:

— Нет, господа, Юля не потонула. Вот она плывет на лодке. Она хочет догнать свою шляпу.

Действительно, видим. Юля стоит в лодке и, ворочая веслом, плывет за своей шляпой. Но течение быстрое. И шляпа ее далеко.

Я говорю:

— Мама, приди в себя, оказывается, Юля не потонула.

Увидев Юлю в лодке, мама кричит:

— Юля, плыви назад! Тебя унесет на середину реки.

Леля говорит:

— Она бы и рада плыть назад, но не может. Ей не справиться с веслом. Вон куда ее унесло. Тут мы видим, что Юлю отнесло далеко от берега.

И она испуганно кричит: «Помогите!» Услышав ее крик, мама снова падает в обморок. Тут какой-то мужчина садится в другую лодку и плывет к Юле.

Я говорю маме:

— Мама, не бойся. Юлю сейчас спасут. Юлину лодку мужчина привязывает к своей локе.

И вскоре Юля на берегу. Плача и целуя Юлю, мама уносит ее домой.

КОРОВЫ ИДУТ

Из рогатки я стреляю в птичку. Птичка улетает и садится на дерево, которое довольно далеко от нашего дома.

Из сада не велено уходить. Но раз такой исключительный момент, это допустимо.

И вот по дороге я бегу за птичкой. Вдруг позади себя я слышу мычание. Оглядываюсь. Боже мой, идет стадо коров. Отступление отрезано. Домой уже не добежать

Коровы совсем близко. Заметавшись, я влезаю на дерево. Теперь коровы под деревом.

Интересно отметить, что они не уходят.

Они, как нарочно, встали у дерева и щиплют траву. Делают вид, что не замечают меня.

Может быть, они рассчитывают на то, что я сейчас сойду и тогда они забодают меня? Но я не так глуп, как они думают. Я не сойду с дерева, пока не уйдет все стадо.

Только бы не обломился сучок, на котором я сижу. Вот если обломится сучок, тогда дела мои плохи. Тогда я как раз упаду между двух этих коров. И они поднимут меня на рога.

Идет пастух. Он хлопает бичом.

Это знакомый пастух Андрюшка. С ним можно договориться.

— Андрюшка, — кричу я, — гони этих коров, которые под деревом! Что они тут расположились и еще кушают!

Андрюшка хлопает бичом. Коровы нехотя уходят.

Теперь не страшно. Я даже нацеливаюсь из рогатки и пускаю камешек в уходящих коров.

Потом слезаю с дерева и виноватой походкой иду в сад.

ГРОЗА

Со своей сестрой Лелей я иду по полю и собираю цветы.

Я собираю желтые цветы. Леля собирает голубые.

Позади нас плетется младшая сестренка Юля. Она собирает белые цветы.

Это мы нарочно так собираем, чтоб было интересней собирать.

Вдруг Леля говорит:

— Господа, глядите, какая туча.

Мы смотрим на небо. Тихо надвигается ужасная туча. Она такая черная, что все темнеет вокруг. Она ползет, как чудовище, обволакивая все небо.

Леля говорит:

— Скорей домой! Сейчас будет жуткая гроза.

Мы бежим домой. Но бежим навстречу туче. Прямо в пасть этому чудовищу.

Неожиданно налетает ветер. Он крутит все вокруг нас.

Пыль поднимается. Летит сухая трава. И сгибаются кусты и деревья.

Что есть духу мы бежим домой.

Вот уже дождь крупными каплями падает на наши головы.

Ужасная молния и еще более ужасный гром потрясают нас. Я падаю на землю и, вскочив, снова бегу. Бегу так, как будто за мной гонится тигр. Вот уже близко дом. Я оглядываюсь назад. Леля тащит за руку Юлю. Юля ревет. Еще сто шагов — и я на крыльце. На крыльце Леля меня бранит, зачем я потерял свой желтый букетик. Но я его не потерял, я его бросил.

Я говорю:

— Раз такая гроза, зачем нам букеты?

Прижавшись друг к другу, мы сидим на кровати. Ужасный гром сотрясает нашу дачу.

Дождь барабанит по стеклам и крыше.

От потоков дождя ничего не видно.

БЕШЕНАЯ СОБАКА

Мы вбегаем в дом и плотно закрываем двери. Я подбегаю к окну и закрываю раму на крючок.

В окно мы смотрим на двор…

По двору идет хозяйская дочка Катя.

Мы стучим по стеклу и кричим ей:

— Катька, дура, беги скорей домой! Прячься! На улице бешеная собака.

Вместо того чтоб бежать домой, Катька подходит к нашему окну. И заводит разговор, как будто бы ничего особенного не случилось.

— А где вы видели эту собаку? — спрашивает она. — Да, может быть, она не бешеная.

Я начинаю сердиться на Катьку. Я кричу ей:

— Она двоих покусала. И если укусит тебя, мы не виноваты. Мы тебя предупредили.

Катя медленно идет к своему дому. Бешеная собака вбегает на наш двор. Она черная и страшная. Хвост у нее висит книзу.

Пасть раскрыта. Из пасти течет слюна.

Схватив грабли, Катя замахивается. И собака отбегает в сторону. Катя смеется.

Это невероятно. Бешеная собака испугалась Катьки. Я думал, что такие собаки ничего не боятся и всех кусают.

Вот бегут люди с палками. Они хотят убить собаку. Но собака убегает. Люди бегут за ней. Они кричат и улюлюкают.

Осмелев, мы открываем окно. Потом выходим и сад.

Конечно, в саду небезопасно. Собака может вернуться. Кто ее знает. Но если сидеть на крыльце, то это ничего. Можно успеть убежать.

Однако собака не возвращается. Ее убили на соседнем дворе.

НУ, ТЕПЕРЬ СПИТЕ

В комнате темно. Только горит лампадка. У наших кроватей сидит нянька и рассказывает сказку.

Покачиваясь на стуле, нянька монотонно говорит:

— Сунула руку добрая фея под подушку, а там змея. Сунула руку под перинку, а там две змеи и гадюка. Заглянула фея под кроватку, а там четыре змеи, три гадюки и один уж.

Ничего на это добрая фея не сказала, только сунула свои ножки в туфельки, а в каждой туфельке по две жабы сидят. Сорвала фея с гвоздика свое пальто, чтоб одеться и уйти из этих мест. Глядит, а в каждом рукаве ее пальто по шесть гадюк и по четыре жабы.

Собрала фея всю эту нечисть вместе и говорит:

«Вот чего. Ничего худого я вам не желаю, но и вы не препятствуйте мне уйти из этих мест».

И тогда вся эта нечисть сказала и так ответила доброй фее:

«Ничего дурного и от нас вам не будет, госпожа добрая фея. Спасибо, что вы за это нас не убили».

Но тут раздался гром. Из-под земли выкинуло огонь. И перед доброй феей предстала злая фея.

«Это, — говорит, — я нарочно выпустила на тебя всю нечисть, но ты, — говорит, — подружилась с ними, чем удивила меня. Благодаря этому я заколдую тебя в обыкновенную корову». Тут снова раздался гром. Глядим, а вместо доброй феи пасется обыкновенная корова…

Нянька молчит. Мы трясемся от страха. Сестра Юля говорит:

— А вся другая нечисть что?

Нянька говорит:

— Про это я не знаю. Наверно, при виде злой феи они попрятались по своим местам.

— То есть под перину и под подушку? — спрашиваю я, отодвигаясь от подушки.

Нянька встает со стула и, уходя, говорит:

— Ну, хватит разговору. Спите теперь.

Мы лежим в постелях, боясь пошевелиться. Нарочно страшным голосом Леля хрипит: «Хо-о».

Мы с Юлей вскрикиваем от страха. Умоляем Лелю не пугать нас. Но она уже спит.

Я долго сижу на кровати, не рискуя лечь на подушку.

Утром я не пью молоко, оттого что оно от заколдованной феи.

ТАК ПРОСТО

Мы сидим в телеге. Рыжеватая крестьянская лошаденка бойко бежит по пыльной дороге.

Правит лошаденкой хозяйский сынок Васютка. Он небрежно держит вожжи в руках и по временам покрикивает на лошадь:

— Ну, ну, иди… заснула…

Лошаденка совсем не заснула, она бежит хорошо. Но, вероятно, так полагается покрикивать.

У меня горят руки — так мне хочется подержать вожжи, поправить и покричать на лошадь. Но я не смею попросить об этом Васютку.

Вдруг Васютка сам говорит:

— Ну-ка, подержи вожжи. Я покурю.

Сестра Леля говорит Васютке:

— Нет, не давай ему вожжи. Он не умеет править.

Васютка говорит:

— Что значит не умеет? Тут нечего уметь. И вот вожжи в моих руках. Я держу их на вытянутых руках.

Крепко держась за телегу, Леля говорит:

— Ну, теперь будет история — он нас непременно опрокинет.

В этот момент телега подпрыгивает на кочке.

Леля вскрикивает:

— Ну, ясно. Сейчас она нас перевернет.

Я тоже подозреваю, что телега опрокинется, поскольку вожжи в моих неумелых руках. Но нет, подскочив на кочке, телега ровно катится дальше.

Гордясь своим успехом, я похлопываю лошадь вожжами по бокам и покрикиваю: «Ну, заснула!»

Вдруг я вижу — поворот дороги. Торопливо я спрашиваю Васютку:

— За какую вожжу тянуть, чтоб лошадь побежала направо?

Васютка спокойно говорит:

— Потяни за правую.

— Сколько раз потянуть за правую? — спрашиваю я.

Васютка пожимает плечами:

— Один раз.

Я дергаю за правую вожжу, и вдруг, как в сказке, лошадь бежит направо.

Но я почему-то огорчен, раздосадован. Так просто. Я думал, гораздо трудней править лошадью. Я думал, тут целая наука, которую нужно изучать годами. А тут такая чепуха.

Я передаю вожжи Васютке. Не особенно интересно.

СТРАШНЫЙ МИР

Горит дом. Пламя весело перебегает со стен на крышу.

Теперь горит крыша, обитая дранкой.

Пожарные качают воду. Один из них, схватив кишку, поливает дом. Вода тоненькой струйкой падает на огонь.

Нет, не затушить пожарному это пламя.

Мать держит меня за руку. Она боится, что я побегу к огню. Это опасно. Летят искры. Они осыпают толпу.

В толпе кто-то плачет. Это плачет толстый человек с бородой. Он плачет, как маленький. И трет свои глаза рукой. Может быть, искра попала ему в глаз?

Я спрашиваю маму:

— Чего он плачет? В него попала искра?

Мать говорит:

— Нет, он плачет оттого, что горит его дом.

— Он построит себе новый дом. — говорю я. — Вот уж из-за этого я бы не стал плакать.

— Чтоб построить новый дом, нужны деньги, — говорит мать.

— Пусть он заработает.

— На эти деньги не построишь дом.

— А как же тогда строятся дома?

Мама тихо говорит:

— Не знаю, может быть, люди крадут деньги.

Что-то новое входит в мои понятия. Я с интересом гляжу на бородатого человека, который украл деньги, построил дом, и вот он теперь горит.

— Значит, надо красть деньги? — спрашиваю я мать.

— Нет, красть нельзя. За это сажают в тюрьму.

Тогда совсем непонятно.

Я спрашиваю:

— А как же тогда?

Но мать с досадой машет рукой, чтобы я замолчал.

Я молчу. Я вырасту большой и тогда сам узнаю, что делается в этом мире. Должно быть, взрослые в чем-нибудь тут запутались и теперь не хотят об этом рассказывать детям.

КТО-ТО УТОНУЛ

Я мастерю пароходик. Это дощечка с трубой и мачтой. Остается сделать руль и флаг.

Размахивая шляпой, бежит Леля. Она кричит:

— Минька, скорей! Бежим. Там кто-то утонул. Я бегу за Лелей. На ходу кричу ей:

— Я не хочу бежать. Я боюсь.

Леля говорит:

— Так не ты же утонул. Это кто-то утонул. Чего ж тебе бояться?

Мы бежим по берегу. Там у пристани толпа

Расталкивая людей, Леля пробивается сквозь толпу. Я протискиваюсь за ней.

Кто-то говорит:

— Он не умел плавать. Течение быстрое. Вот он и утонул.

На песчаном берегу лежит юноша. Ему лет восемнадцать. Он белый, как бумага. Глаза у него закрыты. Руки раскинуты в стороны, а тело его прикрыто зелеными веточками.

Рядом с ним на коленях стоит женщина. Она пристально смотрит в его мертвое лицо. Кто-то говорит:

— Это его мать. Она не плачет от очень большого горя.

Искоса я поглядываю на утопленника. Мне хочется, чтоб он задвигался, встал и сказал:

— Нет, я не потонул. Это я так. Нарочно. Пошутил.

Но он лежит неподвижно. И мне делается так страшно, что я закрываю глаза.

Я НЕ ВИНОВАТ

Сидим за столом и кушаем блины.

Вдруг отец берет мою тарелку и начинает кушать мои блины. Я реву.

Отец в очках. У него серьезный вид. Борода. Тем не менее он смеется. Он говорит:

— Видите, какой он жадный. Ему для отца жаль одного блина.

Я говорю:

— Один блин, пожалуйста, кушай. Я думал, что ты все скушаешь.

Приносят суп.

Я говорю:

— Папа, хочешь мой суп?

Папа говорит:

— Нет, я подожду, когда принесут сладкое. Вот если ты мне сладкое уступишь, тогда ты действительно добрый мальчик.

Думая, что на сладкое клюквенный кисель с молоком, я говорю:

— Пожалуйста. Можешь кушать мое сладкое.

Вдруг приносят крем, к которому я неравнодушен.

Пододвинув к отцу мое блюдце с кремом, я говорю:

— Пожалуйста, кушай, если ты такой жадный.

Отец хмурится и уходит из-за стола.

Мать говорит:

— Пойди к отцу, попроси прощения.

Я говорю:

— Не пойду. Я не виноват.

Я выхожу из-за стола, не дотронувшись до сладкого.

Вечером, когда я лежу в кровати, подходит отец. У него в руках мое блюдце с кремом.

Отец говорит:

— Ну, что ж ты не съел свой крем?

Я говорю:

— Папа, давай съедим пополам. Что нам из-за этого ссориться?

Отец целует меня и с ложечки кормит кремом.

В ВОДЕ

Мальчики плавают и ныряют. Я копаюсь на берегу.

Мне кричат:

— Ну, давай. Смелей иди. Научим плавать.

Я медленно иду по воде. Холодно. Мурашки ползут по моей коже.

— Сразу окунайся, балда, семь раз! — кричат мальчишки.

Я окунаюсь до плеч. Мальчишки кричат!

— С головой окунайся, недотепа.

Нет, с головой я не решаюсь окунуться. Вода попадет в глаза и в уши. Это неприятно.

— Давай сюда! Не трусь! — кричат мальчишки.

Хоть там глубоко, но я иду вперед. Я не хочу быть трусом.

Я иду вперед и вдруг проваливаюсь в яму. Зеленая вода покрывает меня с головой. Неужели я потонул?!

Но нет. Я выплываю наверх. И, барахтаясь, как собачонка, плыву.

Браво! Кажется, я сам научился плавать.

Вдруг кто-то или что-то хватает меня за ногу. Я вскрикиваю и сразу иду на дно.

Вот теперь я окончательно потонул. Я закрываю глаза.

Мальчишки выволакивают меня наверх. Один из них говорит:

— Зря так скоро мы его вытащили. Пущай бы подольше полежал. Откачали бы.

Я лежу на берегу и выплевываю воду.

Вокруг меня беснуются мальчишки. Им досадно, что я мало наглотался воды.

ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРИ

Вечер. Мы пьем молоко. И ложимся спать.

Я подхожу к окну. За окном темно. Так темно, что даже не видно клумбу с цветами.

Я всматриваюсь в окно.

В комнате веселятся мои сестры. Они хохочут и бросаются подушками. Одна из подушек летит в меня. Я сердито отбрасываю ее в сторону. Совершенно неподходящее время для таких шуток.

Желая мне досадить, Леля говорит:

— Сегодня непременно придут воры. Так и знай.

Положим, если закрыть двери, они не придут.

Я кричу взрослым, которые сидят на балконе:

— Не забудьте закрыть двери!

Мама появляется в дверях.

— Что случилось? — спрашивает она.

— Нет, ничего не случилось, — говорю я, — но Леля думает, что сегодня придут воры.

Мама целует нас и, улыбаясь, уходит.

Я лежу, закрывшись с головой одеялом. В доме уже тихо. Все спят. Но мне не спится.

Двери, конечно, закрыты. Я сам слышал, как щелкнул крючок, но закрыты ли окна?

Я встаю с постели. Подхожу к окну. Пробую крючок. Закрыто. Может быть, в той комнате забыли закрыть окно?

Осторожно ступая, я иду в соседнюю комнату. Ощупью нахожу крючок на окне. Вдруг что-то со звоном и треском падает на пол.

Я слышу испуганный голос мамы:

— Что! Кто там?.. Воры!

— Где, где воры? — кричу я матери. В доме переполох. Все прибегают. Зажигают лампу.

Мать успокаивает меня.

И я снова ложусь в постель, закрываюсь с головой одеялом.

У БАБУШКИ

Мы в гостях у бабушки. Сидим за столом. Подают обед.

Наша бабушка сидит рядом с дедушкой. Дедушка толстый, грузный. Он похож на льва. А бабушка похожа на львицу.

Лев и львица сидят за столом.

Я не отрываясь смотрю на бабушку. Это мамина мама. У нее седые волосы. И темное, удивительно красивое лицо. Мама сказала, что в молодости она была необыкновенная красавица.

Приносят миску с супом.

Это неинтересно. Это я вряд ли буду кушать!

Но вот приносят пирожки. Это еще ничего.

Сам дедушка разливает суп.

Подавая свою тарелку, я говорю дедушке:

— Мне только одну капельку.

Дедушка держит разливательную ложку над моей тарелкой. Одну каплю супа он капает в мою тарелку.

Я смущенно смотрю на эту каплю.

Все смеются.

Дедушка говорит:

— Он сам попросил одну каплю. Вот я и выполнил его просьбу.

Я не хотел супа, но почему-то мне обидно. Я почти плачу.

Бабушка говорит:

— Дедушка пошутил. Дай твою тарелку, я налью.

Я не даю свою тарелку и не дотрагиваюсь до пирожков.

Дедушка говорит моей маме:

— Это плохой ребенок. Он не понимает шуток.

Мама говорит мне:

— Ну, улыбнись же дедушке. Ответь ему что-нибудь.

Я сердито смотрю на дедушку. Тихо говорю ему:

— Я больше к вам никогда не приеду.

Я пришел к бабушке в гости, только когда дедушка умер. Это был неродной дедушка. И я не жалел, что он умер.

МАМА ПЛАЧЕТ

Мама лежит на диване и плачет. Я подхожу к ней. Мама протягивает мне цветную открытку. На открытке какая-то красивая дама в боа и в шляпе.

Мама спрашивает:

— Правда, я похожа на эту даму?

Желая утешить маму, я говорю:

— Да, немножко похожа.

Хотя я и не вижу особенного сходства.

Мама говорит:

— В таком случае пойди к папе, покажи ему эту открытку и скажи: «Папа, погляди, как похожа на нашу маму».

Угрюмо я спрашиваю:

— Для чего?

— Так нужно. Я не могу тебе объяснить, для чего. Ты слишком мал. Я говорю:

— Нет, ты все-таки скажи, так я не пойду.

Мама говорит:

— Ну как тебе объяснить… Папа посмотрит на эту открытку и скажет: «Ах, какая у нас интересная мама…» И будет относиться ко мне добрей…

Это объяснение не вносит ясности в мою голова. Наоборот, мне кажется, что папа увидит несходство и еще больше рассердится на маму.

С большой неохотой я иду в комнату, где работает папа.

Папа — художник. Перед ним мольберт. Папа пишет портрет моей сестры Юли.

Я подхожу к отцу и, протянув открытку, угрюмо говорю:

— Кажется, немножко похожа на мать. Нет?

Искоса взглянув на открытку, отец говорит:

— Не мешай мне. Иди…

Ну конечно. Ничего не вышло. Я так и знал.

Я возвращаюсь к матери.

— Ну, что он сказал?

Я говорю:

— Он сказал: «Не мешай мне, иди…»

Закрыв лицо руками, мама плачет.

Мое сердце разрывается от жалости. Я даже согласен вторично идти к отцу с этой дурацкой открыткой, но мать не разрешает мне этого.

МАМА НАШЛА БИЛЕТЫ

Мама в гневе ударяет но столу кулаком. Говорит бабушке:

— Значит, когда мы были на даче, он тут веселился… Вот эти билеты, которые я нашла в кармане его летнего пальто.

Я знаю это летнее папино пальто. Оно висит на вешалке. Совершенно светлое, коротенькое пальто.

Мама кладет на стол какие-то билеты.

Я сгораю от любопытства — так мне хочется узнать, что это за билеты.

Я подхожу к столу и рассматриваю билеты, читаю: «Театр Буфф».

Бабушка говорит:

— Может быть, он был в «Буффе» со своим приятелем. Почем мы знаем?

Мама говорит:

— Нет, билеты в первом ряду. Я знаю, с кем он был. Он был с Анной. Я давно подозревала, что она сходит с ума…

Вдруг открывается дверь, и входит лапа.

Папа в черном осеннем пальто. В шляпе. Он очень высокий, красивый. И даже борода не портит его.

Улыбаясь, папа говорит маме:

— Мне нужно с тобой поговорить.

Они оба уходят в гостиную.

Леля подходит к двери. Прислушивается. Потом говорит:

— Нет, все хорошо. Ничего плохого не будет. Ручаюсь…

Я спрашиваю Лелю:

— А что у них произошло?

Леля говорит:

— Все женщины сходят с ума от нашего папы. Это чересчур расстраивает маму.

Вскоре из гостиной выходят наши родители. Я вижу, мама не особенно довольна, но все же ничего.

Папа на прощанье целует мамину руку. И уходит ночевать в свою мастерскую. Это через три дома от нас.

В МАСТЕРСКОЙ

Папы давно у нас не было. Мать одевает меня. И мы идем к отцу в мастерскую.

Мама идет торопливо. Тянет меня за руку, так что я едва поспеваю.

Мы поднимаемся на седьмой этаж. Стучим. Дверь открывает папа.

Увидев нас, он сначала хмурится. Потом, взяв меня на руки, подкидывает чуть не под потолок. Смеется и целует меня.

Мама улыбается. Она садится рядом с папой на диван. И у них начинается какой-то таинственный разговор.

Я хожу по мастерской. На мольбертах картины. На стенах тоже картины. Огромные окна. Беспорядок.

Я осматриваю ящики с красками. Кисти. Всякие бутылочки.

Уже все осмотрено, но родители еще беседуют. Очень приятно, что они так тихо беседуют без криков, не ссорятся.

Я не мешаю им. Я вторично обхожу ящики и картины.

Наконец отец говорит матери:

— Ну, очень рад. Все хорошо.

Он на прощание целует маму. И мама целует его. И даже они обнимаются.

Одевшись, мы уходим.

По дороге мама вдруг начинает бранить меня. Она говорит:

— Ах, зачем ты увязался за мной…

Мне страшно слышать это. Я вовсе не увязывался. Она сама потянула меня в мастерскую.

И вот теперь недовольна.

Мама говорит:

— Ах, как я жалею, что взяла тебя с собой. Без тебя мы бы окончательно помирились.

Я хнычу. Но я хнычу оттого, что не понимаю, в чем я виноват. Я вел себя тихо. Даже не бегал по мастерской. И вот такая несправедливость.

Мать говорит:

— Нет, больше я тебя никогда с собой не возьму.

Мне хочется спросить, в чем дело, что произошло. Но я молчу. Я вырасту большой и тогда все сам узнаю. Узнаю, почему бывают виноваты люди, если они решительно ни в чем не виноваты.

У КАЛИТКИ

Я стою в саду у калитки. Пристально смотрю на дорогу, которая ведет к пристани.

Мама уехала в город. И вот с утра ее нет. А мы уже пообедали. И скоро вечер. Ах, боже мой, где же она?

Я снова всматриваюсь в даль. Нет! Идут какие-то люди, а ее нет. Наверное, что-нибудь с ней случилось.

Но что могло с ней случиться? Ведь она же не маленький ребенок. Взрослый человек. Ей тридцать лет.

Ну и что из того? И со взрослыми случаются всякие ужасы. Взрослых тоже на каждом шагу подстерегают опасности.

Может быть, мама ехала на извозчике. Понесла лошадь. Правда, у извозчиков лошади тихие. Еле плетутся. Сомнительно, что такие лошади могут понести. А если и понесут, то всегда можно выскочить из пролетки.

Но вот если мама поехала на пароходе, то с парохода не выскочишь, если он тонет. Конечно, имеются круги. Можно схватить такой круг и спастись. Зато такие круги ни к чему, если пожар, если, например, загорелась наша городская квартира. Хотя, впрочем, дом у нас каменный и вряд ли он может вспыхнуть, как спичка.

Скорей всего мама зашла в кафе, там что-нибудь скушала и заболела. И вот теперь ей доктор делает операцию.

Ах, нет! Вот идет наша мама!

С криком я бегу к ней навстречу. Мама в огромной шляпе. На плечах у нее белое боа из перьев. И бант на поясе. Мне не нравится, что мама так одевается. Вот уж ни за какие блага в мире я не надел бы эти перья. Я вырасту большой и попрошу маму, чтоб она так не одевалась. А то мне неловко с ней идти — все оборачиваются.

— Ты, кажется, не рад, что я приехала? — спрашивает мама.

— Нет, я рад, — равнодушно говорю я.

ЭТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Рядом со мной за партой сидит гимназист Костя Палицын.

Перочинным ножом он вырезает на парте какую-то букву. Я смотрю, как ловко и незаметно для учителя он режет ножом.

Я так углубился в это дело, что не слышу, как вызывают меня.

Кто-то толкает меня под бок. И тогда я встаю и растерянно смотрю на классного наставника, который преподает русский и арифметику в нашем приготовительном классе.

Оказывается, учитель почему-то хочет, чтоб я прочитал ему стихотворение «Весело сияет месяц над селом».[51]

Первую строчку я бойко произношу, так как я ее только что услышал от учителя. Но что дальше, я не знаю. Я просто не знаю этого стихотворения и даже в первый раз слышу о нем.

Со всех сторон мне подсказывают: «Белый снег сверкает».

Запинаясь, я произношу, что подсказывают.

Посматривая на меня, учитель улыбается.

Ученики наперерыв подсказывают мне. Они шепчут со всех сторон. От этого даже не разобрать, что они шепчут — «Крест под облаками, как свеча, горит…»

— Треск под сапогами, — бормочу я.

В классе хохот. Учитель тоже смеется. И ставит в мой дневник единицу.

Это неприятно. Я всего пять дней в гимназии. И вдруг сразу единица.

Я говорю Косте Палицыну:

— Если будут ставить единицы за все, что я еще не знаю, то я много нахватаю единиц.

— Это стихотворение было задано, — говорят Костя. — Его надо было выучить.

Ах, оно было задано? Я не знал. В таком случае, это недоразумение.

Мне становится легко на душе, что это недоразумение.

СНОВА НЕПРИЯТНОСТИ

На мне серое гимназическое пальто с серебряными пуговицами. За спиной ранец.

В карман моего пальто мама сует записку с адресом гимназии.

— Мама, — говорю я, — ты не беспокойся. Я так хорошо знаю дорогу, что могу с закрытыми глазами дойти до гимназии.

Мама говорит:

— Только ты и в самом деле не вздумай идти с закрытыми глазами. С тебя хватит.

Я выхожу на улицу.

Нет, конечно, с закрытыми глазами я не пойду. Это опасно. На улицах конки, извозчики. Но от угла Большого до гимназии я непременно пойду с закрытыми глазами. Всего двести десять шагов. Это сущие пустяки.

Дойдя до Большого проспекта, я закрываю глаза и, как слепой, иду, тычась на людей и задевая стены и тумбы. При этом мысленно считаю шаги. Двести… Двести десять…

Произнеся вслух «Двести десять», я с силой наталкиваюсь на какого-то человека. Открываю глаза. Стою как раз у дверей гимназии. А человек, которого я толкнул, — это наш учитель и классный наставник.

— Ах, извините, — говорю я. — Я вас не заметил.

— Надо замечать, — сердито говорит учитель. — Для этого у тебя есть глаза.

— Они были закрыты, — говорю я.

— Зачем же ты глаза закрываешь, глупый мальчишка? — говорит учитель.

Я молчу. Во-первых, это долго объяснять, во-вторых, он, пожалуй, не поймет, почему я закрыл глаза.

— Ну? — спрашивает учитель.

— Просто так закрыл. От ветра…

Учитель хмуро смотрит на меня и сердито говорит:

— Ну, что ж ты стоишь как пень? Иди…

Я стою оттого, что я вежливый человек.

Я хочу пропустить его вперед.

Мы одновременно шагаем к двери и в дверях снова сталкиваемся.

Еще более сердито учитель смотрит на меня.

ПУД ЖЕЛЕЗА

Я занят разборкой моего пенала. Перебираю карандаши и перья. Любуюсь моим маленьким перочинным ножом.

Учитель вызывает меня. Он говорит:

— Ответь, только быстро: что тяжелей — пуд пуха или пуд железа?

Не видя в этом подвоха, я, не подумав, отвечаю:

— Пуд железа.

Кругом хохот.

Учитель говорит:

— Скажи своей маме, чтоб она завтра зашла ко мне. Я хочу с ней поговорить.

На другой день мама идет к учителю и грустная возвращается домой. Она говорит:

— Учитель недоволен тобой. Он говорит, что ты рассеянный, ничего не слушаешь, не понимаешь, и сидишь за партой, как будто тебя не касается, что происходит в классе.

— А что он еще сказал?

Лицо у мамы делается совсем грустным.

Прижав меня к себе, она говорит:

— Я тебя считала умным и развитым мальчиком, а он говорит, что у тебя еще недостаточное умственное развитие.

— Это он глупости говорит! — сердито кричу я. — По-моему, у него недостаточное умственное развитие. Он задает ученикам глупые вопросы. А на глупые вопросы трудней ответить, чем на умные.

Целуя меня, мама плачет.

— Ах, тебе будет трудно жить на свете! — говорит она.

— Почему?

— Ты трудный ребенок. Ты похож на отца. Я не верю, что ты будешь счастливый.

Мама снова целует и обнимает меня, но я вырываюсь. Я не люблю это лизанье и слезы.

ЗАКРЫТОЕ СЕРДЦЕ

Приехал дедушка. Это отец отца. Он приехал из Полтавы.

Я думал, что приедет дряхлый старичок с длинными усами и в украинской рубашке. И будет петь, плясать и рассказывать нам сказки.

Наоборот. Приехал строгий, высокий человек. Не очень старый, не очень седой. Поразительно красивый. Бритый. В черном сюртуке. И в руках у него был маленький бархатный молитвенник и красные костяные четки.

И я удивился, что у нас такой дедушка. И захотел с ним о чем-нибудь поговорить. Но с нами, с детьми, он не стал разговаривать. Он только немного поговорил с папой. А маме сердито сказал:

— Сами виноваты, сударыня. Слишком много народили детей.

И тогда мама заплакала и ушла в свою комнату.

И я еще больше удивился, что у нас такой дедушка, который недоволен тем, что у мамы родились дети, среди которых был я.

И мне непременно захотелось узнать, что делает дедушка в своей комнате, из которой он почти не выходит и никому не позволяет входить в нее. Наверно, он там делает что-нибудь исключительно важное.

И вот я приоткрываю дверь я тихо вхожу в комнату.

Строгий дедушка ничего не делает. Он сидит в кресле и просто ничего не делает. Неподвижно смотрит на стену и курит длинную трубку.

Увидев меня, дедушка спросил:

— Что тебе здесь нужно? И зачем ты вошел ко мне не постучавшись?

И тогда я рассердился на моего дедушку и сказал ему:

— В конце концов, это наша квартира. Если хотите знать — это моя комната, а меня переселили к сестрам. Зачем я буду стучать в свою комнату?

Дедушка бросил в меня свои четки и закричал. Потом он пошел и пожаловался моему отцу. А отец пожаловался матери.

Но мама не стала меня бранить. Она сказала:

— Ах, скорей бы он уехал. Он никого не любит. Он вроде твоего отца. У него закрытое сердце.

— А у меня тоже закрытое сердце? — спрашиваю я.

— Да, — говорит мать, — по-моему, и у тебя закрытое сердце.

— Значит, я буду такой же, как дедушка?

Целуя меня, мать сквозь слезы говорит:

— Да, наверно, и ты будешь такой же. Это большое несчастье — никого не любить.

НЕЛЬЗЯ КРИЧАТЬ

На улицах беспорядки. Побили городового на углу. Жандармы скачут на лошадях. Что-то происходит необычайное.

В нашей гимназии тоже творится что-то странное. Старшие ученики собираются в группы и о чем-то тихо беседуют. И малыши шалят больше обыкновенного.

Перемена. Мы бегаем по залу. Второклассники бегают с криком: «Бунтуйся». Я тоже присоединяюсь к ним и, размахивая рукой, кричу: «Бунтуйся».

Кто-то хватает меня за руку. Это классный наставник.

Он трясет меня за плечи и говорит:

— Повтори, что ты сказал.

— Я сказал «бунтуйся», — бормочу я.

Лицо учителя делается каменным. Он говорит:

— Встань к стене под часами и стой до конца перемены. А завтра пусть мама зайдет ко мне.

Я стою под часами. Новое дело. Что случилось? Почему это нельзя кричать? Все кричали. А он, как коршун, налетел на меня и схватил за плечи.

На другой день мама возвращается от учителя встревоженной. Она идет к отцу и с ним долго беседует.

Потом родители зовут меня в свою комнату.

Отец лежит на кровати в брюках и в пиджаке. Вид у него скучный, хмурый. Он говорит мне:

— Наверное, ты не знал, что означает это слово?

Я говорю:

— Нет, я знал. Оно от слова «бунт». Но я не знал, что его нельзя кричать.

Отец улыбается. Говорит матери:

— Пойди к учителю и скажи ему, что наш сын дурачок, недостаточно развитой… А то его посадят в тюрьму.

Услышав про тюрьму, я начинаю плакать.

Мама говорит:

— Раньше я об этом спорила с учителем. Но теперь я пойду скажу ему, что он прав.

Папа смеется.

— Вот видите, — говорит он, — это плохое мнение пригодилось.

Папа отворачивается к стене и больше не хочет разговаривать.

Мы с мамой выходим из комнаты.

РАЗРЫВ СЕРДЦА

Тихо отворяю дверь и вхожу в папину комнату.

Обычно отец валяется на кровати. Но сегодня он неподвижно стоит у окна.

Высокий, угрюмый, он стоит у окна и о чем-то думает.

Он похож на Петра Великого. Только с бородой.

Тихо я говорю:

— Папа, я возьму твой ножичек очинить карандаш.

Не оборачиваясь, отец говорит:

— Возьми.

Я подхожу к письменному столу и начинаю чинить карандаш. В углу у окна круглый столик. На нем графин с водой.

Отец наливает стакан воды. Пьет. И вдруг падает.

Он падает на пол. И падает стул, за который он задел.

От ужаса я кричу. Прибегают сестры, мать.

Увидев отца на полу, мать с криком бросается к нему. Теребит его за плечи, целует его лицо.

Я выбегаю из комнаты и ложусь на свою кровать.

Произошло что-то ужасное. Но, может быть, все кончится хорошо. Может быть, у папы — обморок.

Я снова иду в комнату отца.

Отец лежит на кровати. Мать у дверей. Рядом с ней доктор.

Мать кричит:

— Вы ошиблись, доктор!

Доктор говорит:

— В этом вопросе мы не смеем ошибаться, сударыня. Он умер.

— Почему же так сразу? Не может быть!

— Это разрыв сердца, — говорит врач. И уходит из комнаты.

Лежа на своей кровати, я плачу.

ДА, ОН УМЕР

Ах, как невыносимо смотреть на маму! Она все время плачет.

Вот она стоит у стола, на котором лежит мой отец. Она упала лицом на его лицо и плачет.

Я стою у двери и смотрю на это ужасное горе. Нет, я бы не мог так плакать. Наверно, у меня — закрытое сердце.

Мне хочется утешить мать, отвлечь ее. Я тихо спрашиваю ее:

— Мама, сколько лет нашему папе?

Вытирая слезы, мама говорит:

— Ах, Мишенька, он совсем молодой. Ему сорок девять. Нет, не может быть, чтобы он умер!

Она снова теребит за плечи отца и бормочет:

— Может быть, это глубокий обморок, летаргический сон?..

Мать отстегивает булавку от своей блузки. Потом берет руку отца. И я вижу — она хочет булавкой проколоть ему руку.

Я вскрикиваю от ужаса.

— Не надо кричать, — говорит мать, — я хочу посмотреть, может быть, он не умер.

Булавкой она прокалывает руку насквозь. Я снова кричу. Мать вынимает булавку из проколотой ладони.

— Погляди, — говорит она, — нет ни капельки крови. Да, он умер…

Упав на грудь отца, мама снова плачет.

Я выхожу из комнаты. Меня трясет лихорадка.

НА КЛАДБИЩЕ

Я первый раз на кладбище. Ничуть не страшно. Только очень неприятно.

Настолько неприятно, что я еле стою в церкви. Скорей бы кончилось отпевание. Я стараюсь не смотреть на покойников, которые лежат на шести катафалках. Но мои глаза невольно останавливаются на них. Они лежат бледные, неподвижные, как восковые куклы. Две старухи в чепцах. Отец. Еще чей-то отец. Молодая мертвая девушка. И какой-то пузатый, толстый человек. Такой пузатый, что вряд ли закроется гроб при таком брюхе. Впрочем, прижмут крышкой. Церемониться не будут. Все равно он теперь ничего не чувствует, не видит.

Не знаю, смогу ли я подойти к отцу, поцеловать его. Вот уже все подходят, целуют.

Затаив дыхание, я подхожу. Чуть касаюсь губами его мертвой руки. Выбегаю из церкви.

Гроб несут на руках художники — папины товарищи. Впереди на маленькой бархатной подушке несут орден, который папа получил за свою картину «Отъезд Суворова». Эта картина на стене Суворовского музея. Она сделана из мозаики. В левом углу картины имеется зеленая елочка. Нижнюю ветку этой елочки делал я. Она получилась кривая, но папа был доволен моей работой.

Поют певчие. Гроб опускают в яму. Мама кричит.

Яму засыпают. Все кончено. Закрытое сердце больше не существует. Но существую я.

ДНИ СОЧТЕНЫ

Мамин брат заболел чахоткой. Ему сняли комнату за городом. И он стал там жить.

Но доктор сказал маме:

— Он очень плох. Его дни сочтены.

Я поехал к нему в воскресенье. Довез пирожки и сметану.

Дядя Георгий лежал на кровати обложенный подушками. Он тяжело и с хрипом дышал.

Я положил на стул то, что привез, и хотел уйти.

Но он сказал мне:

— Я целые дни один. Мне ужасно скучно. Давай хоть с тобой сыграем в карты.

Из-под подушки дядя Георгий вынул карты. И мы стали играть в шестьдесят шесть.

Мне страшно везло. А ему нет. Он проиграл мне две партии. И потребовал, чтоб я сыграл с ним третью.

Мы начали играть третью партию. Но ему не везло еще больше. И тогда он стал на меня сердиться. Стал кричать и бросать карты. Он огорчался, что проигрывает, хотя мы играли не на деньги, а так.

И я удивился, что он огорчается, если дни его сочтены и он скоро умрет.

Вот он сдал мне карты. И почти все они были козырные. И, увидев это, дядя затрясся от гнева, закашлялся. Начал стонать. И ему стало так нехорошо, что он схватил кислородную подушку и приложил ее к своему рту. Ему стало душно. Он боялся задохнуться.

Потом, когда ему стало лучше, мы продолжали игру.

Но я нарочно стал сбрасывать хорошие карты. Ходил не так, как надо. Я хотел ему проиграть, чтоб он не мучился.

И тогда я стал проигрывать. И от этого дядя развеселился настолько, что стал шутить и смеяться. И он хлопнул меня картами по лбу, сказав, что я еще слишком мал, чтоб играть со взрослыми.

Четвертую партию я не стал с ним играть, хотя он очень этого хотел. Я ушел с тем, чтоб к нему больше не приходить.

И мне не пришлось больше у него бывать. Он в следующее воскресенье умер.

МУЗА

Я в гостях. Сижу на диване. Девочка по имени Муза показывает мне свои книги.

Показывая книги, она вдруг спрашивает меня:

— Вы хотите быть моим женихом?

— Да, — тихо отвечаю я. — Только я меньше вас ростом. Не знаю, могут ли быть такие женихи.

Мы подходим к трюмо, чтоб увидеть разницу в нашем росте.

Мы ровесники. Нам по одиннадцать лет и три месяца. Но Муза выше меня почти на полголовы.

— Это ничего, — говорит она. — Бывают женихи совершенно маленького роста и даже горбатые. Главное, чтобы они были сильные. Давайте поборемся. И я уверена, что вы сильней меня.

Мы начинаем бороться. Муза сильней меня. С ловкостью кошки я ускользаю от поражения. И мы снова боремся. Падаем на ковер. И некоторое время лежим, ошеломленные чем-то непонятным.

Потом Муза говорит:

— Да, я сильнее вас. Но это ничего. Среди женихов бывают слабенькие и даже больные. Главное, чтоб они были умные. Сколько у вас пятерок в первой четверти?

Боже мой, какой неудачный вопрос! Если мерить ум на отметки, тогда дела мои совсем плохи. Три двойки. Остальные тройки.

— Ну, ничего, — говорит Муза. — Вы в дальнейшем поумнеете. Наверно, бывают такие женихи, у которых по четыре двойки и больше.

— Не знаю, — говорю я, — вряд ли. Взявшись под руку, мы ходим по гостиной. Взрослые зовут нас в столовую чай пить.

Обняв меня за шею, Муза целует меня в щеку.

— Зачем вы это сделали? — говорю я, ужасаясь ее поступку.

— Поцелуи скрепляют договор, — говорит она. — Теперь мы жених и невеста.

Мы идем в столовую.

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ

Учитель истории вызывает меня не так, как обычно. Он произносит мою фамилию неприятным юном. Он нарочно пищит и визжит, произнося мою фамилию. И тогда все ученики тоже начинают пищать и визжать, передразнивая учителя.

Мне неприятно, когда меня так вызывают. Но я не знаю, что надо сделать, чтоб этого не было.

Я стою за партой и отвечаю урок. Я отвечаю довольно прилично. Но в уроке есть слово «банкет».

— А что такое банкет? — спрашивает меня учитель.

Я отлично знаю, что такое банкет. Это обед, когда, торжественная встреча за столом, в ресторане. Но я не знаю, можно ли дать такое объяснение по отношению к великим историческим людям. Но слишком ли это мелкое объяснение в плане исторических событий?

Я молчу.

— А-а? — спрашивает учитель, привизгивая. И в этом «а-а» я слышу насмешку и пренебреже ние ко мне.

И, услышав это «а-а», ученики тоже начинают визжать.

Учитель истории машет на меня рукой. И ставит мне двойку.

По окончании урока я бегу за учителем. Я догоняю его по лестнице. От волнения я не мог произнести слова. Меня бьет лихорадка.

Увидев меня в таком виде, учитель говорит:

— В конце четверти я вас еще спрошу. Натянем тройку.

— Я не об этом, — говорю. — Если вы меня еще раз так вызовете, то я… я…

— Что? Что такое? — говорит учитель.

— Плюну на вас, — бормочу я.

— Что ты сказал? — грозно кричит учитель.

И, схватив меня за руку, тянет вверх в директорскую. Но вдруг отпускает меня. Говорит:

— Идите в класс.

Я иду в класс и жду, что сейчас придет директор и выгонит меня из гимназии. Но директор не приходит.

Через несколько дней учитель истории вызывает меня к доске.

Он тихо произносит мою фамилию. И когда ученики начинают по привычке визжать, учитель ударяет кулаком по столу и кричит им:

— Молчать!

В классе водворяется полная тишина. Я бормочу заданное, но думаю о другом. Я думаю об этом учителе, который не пожаловался директору и вызвал меня не так, как раньше. Я смотрю на него, и на моих глазах появляются слезы.

Учитель говорит:

— Не волнуйтесь. На тройку вы во всяком случае знаете.

Он подумал, что у меня слезы на глазах оттого, что я неважно знаю урок.

ХЛОРОФИЛЛ

Только два предмета мне интересны — зоология и ботаника. Остальные нет.

Впрочем, история мне тоже интересна, но только не по той книге, по которой мы проходим.

Я очень огорчаюсь, что плохо учусь. Но не знаю, что нужно сделать, чтобы этого не было.

Даже по ботанике у меня тройка. А уж этот предмет я отлично знаю. Прочитал много книг и даже сделал гербарий — альбом, в котором наклеены листочки, цветы и травы.

Учитель ботаники что-то рассказывает в классе. Потом говорит:

— А почему листья зеленые? Кто знает?

В классе молчание.

— Я поставлю пятерку тому, кто знает, — говорит учитель.

Я знаю, почему листья зеленые, но молчу. Я не хочу быть выскочкой. Пусть отвечают первые ученики. Кроме того, я не нуждаюсь в пятерке. Что она одна будет торчать среди моих двоек и троек? Это комично.

Учитель вызывает первого ученика. Но тот не знает.

Тогда я небрежно поднимаю руку.

— Ах, вот как, — говорит учитель, — вы знаете. Ну скажите.

— Листья зеленые, — говорю я, — оттого, что в них имеется красящее вещество хлорофилл.

Учитель говорит:

— Прежде чем вам поставить пятерку, я должен узнать, почему вы не подняли руку сразу.

Я молчу. На это очень трудно ответить.

— Может быть, вы не сразу вспомнили? — спрашивает учитель.

— Нет, я сразу вспомнил.

— Может быть, вы хотели быть выше первых учеников?

Я молчу. Укоризненно качая головой, учитель ставит пятерку.

ВСЕ КОНЧЕНО

Ветер такой сильный, что нельзя играть в крокет.

Мы сидим на траве за домом и беседуем.

Кроме моих сестер, на траве реалист Толя и его сестренка Ксеня.

Мои сестры подшучивают надо мной. Они считают, что я неравнодушен к Ксении — все время смотрю на нее и подставляю шары, когда играем в крокет.

Ксеня смеется. Она знает, что я действительно подставляю ей шары.

Уверенная в моем чувстве, она говорит:

— Могли бы вы для меня пойти ночью на кладбище и там сорвать какой-нибудь цветок?

— Зачем? — спрашиваю я.

— Просто так. Чтобы исполнить мою просьбу.

Я говорю тихо, так, чтобы не слышали сестры:

— Для вас я бы мог это сделать.

Вдруг мы видим — за забором бегут люди. Мы выходим из сада. Боже мой! Вода у шоссе. Уже Елагин остров в воде. Еще немного — и вода зальет дорогу, по которой мы идем.

Мы бежим в яхт-клуб. Ветер такой сильный, что мы чуть не падаем с ног.

Мы с Ксенией, взявшись за руки, бежим впереди.

Вдруг слышим мамин голос:

— Назад! Домой!

Мы оборачиваемся. Наш сад в воде. Это вода хлынула с поля и затопила все позади нас.

Я бегу к дому. Канавы полны водой. Плывут доски и бревна.

Мокрый по колено, я вбегаю на веранду.

А где же Ксения, сестры, Толя?

Сняв башмаки, они идут по саду.

На веранде Ксения мне говорит:

— Убежать первым… бросить нас… Ну, знаете ли… Все кончено между нами.

Молча я ухожу в свою комнату на второй этаж. В ужасной тоске ложусь на свою постель.

ВЫСТРЕЛ

Утро. Мы сидим на веранде. Пьем чай.

Вдруг слышим ужасный крик. Потом выстрел. Мы вскакиваем.

На нашу веранду вбегает женщина. Это наша соседка Анна Петровна.

Она ужасно растрепана. Почти голая. На плечи наброшен халат. Она кричит:

— Спасите! Умоляю! Он убьет меня… Он убил Сергея Львовича…

Мама всплескивает руками.

— Это такой блондин, студент, который ходил к вам в гости?

Сказав «да», Анна Петровна падает на диван и бьется в истерике.

Я бегу к соседней даче, к их окну.

Я отпрянул от окна, когда заглянул в комнату. На кровати лежал убитый человек. И кровь стекала с простыни на пол. Но больше в комнате никого не было.

Тогда я побежал в их сад. И там увидел толпу людей. Эти люди держали за руки мужа Анны Петровны.

Он стоял смирно. Не вырывался. И ничего не говорил. Он молчал.

Пришел полицейский и хотел его увести. Но муж Анны Петровны сказал:

— Позовите мне мою жену. Я хочу с ней попрощаться.

И тогда я бросился в наш дом и сказал Анне Петровне:

— Анна Петровна, он хочет попрощаться с вами. Выйдите к нему. И не бойтесь. Там полицейский.

Анна Петровна сказала:

— Я не имею привычки прощаться с убийцами. Я не выйду к нему.

Я побежал в сад, чтоб сказать, что она не выйдет. Но мужа Анны Петровны уже увели.

ЗАМЕЧАНИЕ

Я был на елке у знакомых. У моего товарища. Его родители очень богатые люди.

Все гости получили подарки, сюрпризы и всякие безделушки. Лично я получил две книги Майн Рида и полубеговые коньки. Кроме того, сестра моего товарища Маргарита подарила мне альбом для марок, крошечный перламутровый ножик и золотое сердечко на цепочке для ношения на часах.

Поздно вечером гости стали расходиться.

Меня пошла провожать Маргарита со своей горничной.

И вот я иду с Маргаритой впереди, а горничная Аннушка идет сзади.

Мы весело болтаем и незаметно доходим до моего дома.

Прощаясь, Маргарита просит, чтоб завтра я ее встретил, когда она будет возвращаться из гимназии.

Я прощаюсь с Маргаритой и пожимаю ее руку. Потом прощаюсь с Аннушкой. Я тоже пожимаю ее руку.

Но когда я прощался с Аннушкой, Маргарита вспыхнула и пожала плечами.

На другой день я встречаю Маргариту. Она говорит:

— Вы, наверно, бывали только в демократических домах, где принято за руку прощаться с прислугой. У нас это не принято. Это шокинг.

Я никогда не задумывался об этих вещах. И теперь покраснел, смутился. И сразу не нашелся, что ответить. Потом сказал:

— Я не вижу ничего дурного в том, что попрощался с Аннушкой.

Маргарита сказала:

— Еще не хватало того, чтобы вы сначала попрощались с ней, потом со мной. Вы из дворянского дома и так поступаете.

Две улицы мы шли молча. Не разговаривали. Потом мне стало не по себе. Я снял свою гимназическую фуражку и попрощался с Маргаритой. Она сказала мне, когда я уходил:

— Вы не должны сердиться на меня. Я старше вас на год. И я из хороших чувств к вам сделала замечание.

МОЙ ДРУГ

Каждый день я хожу к Саше П. Он умный мальчик. Мне с ним интересно. Мы с ним дружим. Он мой единственный друг.

Мама сказала, что я неспособен с кем-нибудь дружить, что я по натуре одинокий человек, вроде моего отца.

Ничего подобного. Я скучаю, если хотя бы один день не вижу моего товарища. У меня просто потребность у него бывать.

Начистив ботинки, я спешу к нему. Его дача на берегу, через три улицы.

Я иду по набережной и тихо напеваю: «Невольно к этим грустным берегам…».[52]

Вхожу в сад. Вся семья П. на веранде. Мама, он и две его сестренки — Оля и Галя. Оле четырнадцать, Гале шестнадцать лет. А мне пятнадцать.

Все рады, что я пришел. Саша говорит мне:

— Если хочешь, сегодня мы сходим на взморье. Пофилософствуем.

Девушки недовольны. Они хотели поиграть со мной в крокет, посидеть в саду.

Саша говорит:

— Часик поболтай с девчонками. А я пока дочитаю книгу.

Я иду с девушками в сад. Мы располагаемся в беседке. И говорим о всевозможных вещах. Мне больше нравится Оля, но я больше нравлюсь Гале. Драматический узел. Все страшно интересно. Это — жизнь.

Мы долго сидим в беседке. Потом гуляем по саду. Потом сидим на берегу. И, наконец, снова располагаемся в беседке.

Уже темнеет. Я прощаюсь о сестрами. Галя почти-что шепчет мне на ухо. Я не слышу. Но она не хочет повторить. Мы смеемся.

Наконец, я окончательно прощаюсь и в прекрасном настроении спешу домой.

И вдруг по дороге вспоминаю, что я позабыл попрощаться с Сашей и позабыл о том, что мы собирались пойти с ним на взморье.

Мне страшно неловко. Я возвращаюсь к их даче. Подхожу к забору. У калитки стоит Саша. Он говорит мне:

— Сегодня я окончательно понял, что ты приходишь не ко мне, а к моим сестрам.

Я горячусь, пробую доказывать, что я хожу именно к нему. И вдруг сам убеждаюсь, что я не к нему хожу.

Он говорит:

— Наша дружба построена на песке. Я убежден в этом.

Мы холодно прощаемся.

СТУДЕНТ СО СТЕКОМ

Через два дома от нас жила девушка Ирина. Она была рыженькая, но настолько хорошенькая, что можно было часами ею любоваться.

Мы, мальчишки, часто подходили к ее забору и смотрели, как она лежит в гамаке.

Она почти все время лежала в гамаке. Но не читала. Книга валялась на траве либо лежала на ее коленях. А вечером Ирина уходила гулять с Олегом. Это такой студент. Путеец. Очень интересный. В пенсне. Со стеком в руках.

Когда он направлялся к ее дому, мы, мальчишки, кричали:

— Ириша, Олег идет!

Ира безумно краснела и бежала к нему навстречу.

Я не знаю, что именно у них произошло, только в конце лета Ирина бросилась с пристани в воду и утонула. И ее не нашли.

Все дачники ужасно жалели ее. И некоторые даже плакали. Но этот студент Олег очень легко отнесся к ее смерти. Он по-прежнему ходил на пристань со своим стеком. Смеялся. Шутил с товарищами. И даже стал ухаживать за одной курсисткой Симочкой.

И мы, мальчишки, были раздосадованы его поведением. Мы ненавидели от всей души этого студента со стеком.

Когда однажды он сидел на пристани, мы с берега стали стрелять в него из рогаток.

Он ужасно рассердился на нас. Закричал. Погнался за нами. Но когда он гнался за одним, другие в него стреляли.

Мы стреляли в него так, что он, наконец, побежал домой, закрыв голову руками.

Три дня мы обстреливали его дачу. Мы стреляли в каждого, кто выходил из его дома. Даже стреляли в его мамашу. И в кухарку. И в гостей. И в собаку. И даже в кошку, которая выходила погреться на солнышке.

Мы выбили несколько стекол на веранде. И довели его до того, что он вскоре уехал.

Он уехал с распухшим носом. Это кто-то из нас выстрелил в него из рогатки, когда он с вещами шел на пристань.

ПЕРВЫЙ УРОК

У меня — ученик. Это писарь Главного штаба. Я готовлю его к экзаменам.

Через два месяца он будет держать экзамен на первый классный чин.

У нас условие: если он выдержит экзамен, я получаю за это его велосипед.

Это великолепное условие. И я по три часа в день и больше сижу с этим обалдуем, который не очень-то смыслит в науках.

Все свои знания я стараюсь переложить в его туманные мозги, Я заставляю его писать, думать, считать. Я заканчиваю урок, только когда он начинает вякать, что у него болит голова.

И вот он прилично выдержал экзамен. И пришел ко мне сияющий.

Он с удивлением смотрел на меня, говоря, что он не ожидал, что так получится.

Мы с ним пошли в его квартиру.

И вот торжественный момент. Он выкатывает в коридор свой велосипед.

У меня помутилось в глазах, когда я увидел его машину. Она была ржавая, разбитая, с помятым рулем и без шин.

Слезы показались на моих глазах, но мне было совестно сказать, что я не согласен получить такую машину.

Давясь от смеха, писарь сказал:

— Ничего. Смажете керосинцем. Протрете. Купите шины. И будет приличная машина.

С превеликим трудом я докатил эту ржавчину до ремонтной мастерской. Махнув рукой, мастер сказал:

— Да что вы, в своем уме! Разве можно ее чинить!

За рубль я продал эту машину тряпичнику

И то он не хотел давать рубля. Он давал восемьдесят пять копеек. Но потом смягчился, увидев, что на ржавом руле есть звонок.

Даже теперь, когда прошло тридцать лет, я с отвращением вспоминаю этого писаря, его утиный нос, его желтые зубы и сплюснутый череп, в который я втиснул некоторые знания.

Этот мой первый урок дал и мне некоторые знания о жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И вот воспоминания о моем детстве закончены.

Передо мной тридцать восемь историй, которые когда-то взволновали и потрясли меня.

Все эти истории я стал пересматривать и перетряхивать. Я надеялся найти в них источник моих страданий.

Однако ничего особенного я не увидел в этих историях.

Да, конечно, некоторые сцены весьма печальны. Но не более печальны, чем это обыкновенно бывает.

У каждого умирает отец. Каждый видит слезы матери.

У каждого случаются школьные огорчения.

Обиды. Волнения. И каждого страшит гроза, наводнения и бури.

Нет, ни в одной истории я не нашел несчастного происшествия, которое испортило мою жизнь, создало мне меланхолию и тоску.

Тогда я сложил все эти истории вместе. Я захотел увидеть общую картину моего детства, общий аккорд, который, быть может, оглушил меня, когда неверными детскими шагами я шел по узкой тропинке моей жизни.

Но и в общем этом аккорде я не увидел ничего особенного. Обыкновенное детство. Немного трудный ребенок. Нервный. Обидчивый. Весьма впечатлительный. Со взором, устремленным на то, что плохо, а не на то, что хорошо. Пожалуй, пугливый из-за этого. Но совсем не слабенький, а скорей даже сильный.

Нет, события детских лет не могли испортить мою дальнейшую жизнь.

Я снова был обескуражен. Непосильная задача — найти причину моей тоски. Убрать ее. Стать счастливым. Радостным. Восторженным. Таким, как должен быть обыкновенный человек с открытым сердцем.

Только в сказке блудный сын возвращается в отчий дом!

Но, может быть, я ошибся? Может быть, вовсе и не было этого несчастного происшествия, которое я ищу? Или, может быть, оно произошло еще в более раннем возрасте?

В самом деле, почему же я отбросил младенческие годы? Ведь первые впечатления бывают не в шесть и не в семь лет. Первое знакомство с миром происходит раньше. Первые понятия возникают в два и в три года. И даже, может быть, в год.

Тогда я стал думать: что же могло случиться в этом ничтожном возрасте?

Напрягая память, я стал вспоминать себя совсем крошечным ребенком. Но тут я убедился, что об этом я почти ничего не помню. Ничего цельного я не мог вызвать в своей памяти. Какие-то обрывки, куски, какие-то отдельные моменты которые тонули в общей серой пелене.

Тогда я начал припоминать эти обрывки. И, припоминая их, я стал испытывать еще больший страх, чем тот, который я испытал, думая о своем детстве.

Значит, я на верном пути, подумал я. Значит, рана где-то совсем близко.

V. ПЕРЕД ВОСХОДОМ СОЛНЦА

То страшный мир какой-то был

Без неба, света и светил.[53]

Итак, я решил вспомнить мои младенческие годы, полагая, что несчастное происшествие случилось именно в этом возрасте.

Однако вспомнить эти годы оказалось нелегко. Они были овеяны каким-то тусклым туманом.

Напрягая память, я старался разорвать этот туман. Я старался припомнить себя трехлетним малышом, сидящим на высоком стуле или на коленях матери.

И вот, сквозь далекий туман забвения, я вдруг стал припоминать какие-то отдельные моменты, обрывки, разорванные сцены, освещенные каким-то странным светом.

Что же могло осветить эти сцены? Может быть, страх? Или душевное волнение ребенка? Да, вероятно, страх и душевное волнение прорвали тусклую пелену, которой была обернута моя младенческая жизнь.

Но это были короткие моменты, это был мгновенный свет. И потом снова все тонуло в тумане.

И вот, припоминая эти мгновения, я увидел, что они относились к трем и четырем годам моей жизни. Некоторые же касались и двухлетнего возраста.

И тогда я стал вспоминать то, что случилось со мной с двух до пяти лет.

С 2 ДО 5 ЛЕТ

Что кажется нам сладким на язык,

То кислоту в желудке производит.[54]

ОТКРОЙ РОТ

На одеяле — пустая коробка от спичек. Спички во рту.

Кто-то кричит: «Открой рот!»

Открываю рот. Выплевываю спички.

Чьи-то пальцы лезут в мой рот. Вытаскивают еще некоторое количество спичек.

Кто-то плачет. Я плачу громче и оттого, что горько, и оттого, что отняли.

ТУФЕЛЬКИ ЕДУТ

Маленькие лакированные туфельки. Блестящие маленькие туфельки неописуемой красоты. Они куда-то едут.

Эти туфельки на моих ногах. Ноги на сиденье. Сиденье синее. Должно быть, это пролетка извозчика.

Лакированные туфельки едут на извозчике.

Не отрываясь я смотрю на эти туфельки.

И больше ничего не помню.

САМ

Блюдце с кашей. Ложка направляется в мой рот. Чья-то рука держит эту ложку.

Отнимаю эту ложку. Сам буду кушать.

Глотаю кашу. Горячо. Реву. Со злостью колочу ложкой по блюдцу. Брызги каши летят в лицо в глаза.

Невероятный крик. Это я кричу.

ПТИЦА В РУКАХ

Один человек закрылся черным платком. Другой человек держит птицу в руках. Птица большая. Я стою на стуле и смотрю на нее.

Человек поднимает птицу. Зачем? Чтоб она улетела? Она не может улететь. Она неживая. Она на палке.

Кто-то говорит: готово.

Эта фотография мальчонки с вытаращенными от удивления глазами сохранилась у меня. Мне два года и три месяца.

ЗАБЛУДИЛСЯ

Мягкий полосатый диван. Над диваном круглое окошечко. За окошечком вода.

Я сползаю с дивана. Открываю дверь каюты. За дверью нет воды.

Иду по коридору. Возвращаюсь.

Где же наша дверь? Нет двери. Я заблудился! Кричу и плачу.

Мать открывает дверь. Говорит:

— Сиди тут. Никуда не уходи.

ПЕТУХ

Двор. Солнце. Летают большие мухи.

Сижу на ступеньках крыльца. Что-то ем. Должно быть, булку.

Кусочки булки бросаю курам.

Ко мне подходит петух. Ворочая головкой, смотрит на меня.

Машу рукой, чтоб петух ушел. Но он не уходит. Приближается ко мне. И вдруг, подскочив, клюет мою булку.

С криком ужаса я убегаю.

ПРОГОНИТЕ ЕЕ

На подоконнике цветы. Среди цветов лежит кошка. Она посматривает на меня.

А я посматриваю на кошку. И сам сижу на высоком стуле. И ем кашу.

Вдруг подходит большая собака. Она кладет лапы на стол.

Я отчаянно реву.

Кто-то кричит:

— Он боится собак. Прогоните ее!

Собаку прогоняют.

Посматривая на кошку, я ем кашу.

ЭТО НАРОЧНО

Я стою на заборе. Кто-то сзади поддерживает меня.

Вдруг идет нищий с мешком.

Кто-то говорит ему:

— А вот возьмите мальчика.

Нищий протягивает руку. Ужасным голосом я кричу.

Кто-то говорит:

— Не отдам, не отдам. Это я нарочно.

Нищий уходит со своим мешком.

ДОЖДЬ ИДЕТ

Мать держит меня на руках. Бежит. Я прижимаюсь к ее груди.

Дождь барабанит по моей голове. Струйки воды текут за воротник. Реву.

Мать закрывает мою голову платком. Бежим быстрей.

Вот мы уже дома. В комнате.

Мать кладет меня на постель.

Вдруг сверкает молния. Гремит гром.

Я сползаю с кровати и так громко реву, что заглушаю гром.

Я БОЮСЬ

Мать держит меня на руках. Мы смотрим зверей, которые в клетках.

Вот огромный слон. Он хоботом берет французскую булку. Проглатывает ее.

Я боюсь слонов. Мы отходим от клетки.

Вот огромный тигр. Зубами и когтями он разрывает мясо. Он кушает.

Я боюсь тигров. Плачу.

Мы уходим из сада.

Мы снова дома. Мама говорит отцу:

— Он боится зверей.

УМИРАЕТ ДЯДЯ САША

Я сижу на высоком стуле. Пью молоко. Попалась пенка. Плюю. Реву. Размазываю пенку по столу.

За дверью кто-то кричит страшным голосом. Приходит мама. Она плачет. Целуя меня, она говорит:

— Умирает дядя Саша.

Размазав пенку по столу, я снова пью молоко.

И снова за дверью ужасный крик.

НОЧЬЮ

Ночь. Темно. Я проснулся. Кричу. Мать берет меня на руки.

Я кричу еще громче. Смотрю на стену. Стена коричневая. И на стене висит полотенце. Мать успокаивает меня. Говорит:

— Ты боишься полотенца? Я уберу его.

Мать снимает полотенце, прячет его. Укладывает меня в постель. Я снова кричу.

И тогда мою маленькую кроватку ставят рядом с кроватью матери.

С плачем я засыпаю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И вот передо мной двенадцать историй крошечного ребенка.

Я внимательно пересмотрел эти истории, но ничего особенного в них не увидел. Каждый ребенок сует в рот то, что подвернется под руку.

Почти каждый ребенок страшится зверей, собак. Плюет, когда попадает пенка. Обжигает рот. Кричит в темноте.

Нет, обыкновенное детство, нормальное поведение малыша.

Сложенные вместе, эти истории также не разъяснили мне загадки.

Показалось, что я зря припомнил всю эту детскую чушь. Показалось, что все, что я вспомнил о своей жизни, я вспомнил напрасно.

Все эти сильные впечатления, должно быть, не являлись причиной несчастья. Но, может быть, они были следствием, а не причиной?

Может быть, несчастное происшествие случилось до двух лет? — неуверенно подумал я.

В самом деле. Ведь первые встречи с вещами, первое знакомство с окружающим миром состоялось не в три и не в четыре года, а раньше, на рассвете жизни, перед восходом солнца.

Должно быть, это была необычайная встреча, необычайное знакомство. Маленькое животное, не умеющее говорить, не умеющее думать, встретилось с жизнью. Именно тогда, а не позже и могло произойти несчастное происшествие.

Но как же мне его найти? Как мне проникнуть в этот мир, лишенный разума, лишенный логики, в этот мир, о котором я решительно ничего не помню?

ДО ДВУХ ЛЕТ

И виделось, как в тяжком сне,

Все бледным, темным, тусклым мне.[55]

1

Напрягая память, я стал думать о начале моей жизни. Однако никаких сцен мне не удалось вызвать из забвения. Никаких далеких очертаний я не смог уловить. Даль сливалась в одну сплошную, однообразную тень.

Серый плотный туман окутывал первые два года моей жизни.

Он стоял передо мной, как дымовая завеса, и не позволял моему взору проникнуть в далекую таинственную жизнь маленького существа.

И я не понимал, как мне разорвать этот туман, чтобы увидеть драму, которая разыгралась на рассвете моей жизни, перед восходом солнца.

Что драма разыгралась именно тогда, я уже не имел сомнений. В поисках того, что не было, я бы не испытал такого безотчетного страха, который я стал испытывать, стараясь проникнуть туда, куда не разрешалось проходить людям, перешагнувшим младенческий возраст.

2

Я старался представить себя годовалым младенцем, с соской во рту, с побрякушкой в руках, с задранными кверху ножонками.

Но эти сцены, искусственно нарисованные в моем мозгу, не расшевелили моей памяти.

И только однажды, после напряженного раздумья, в моем разгоряченном уме мелькнули какие-то забытые видения.

Вот складки какого-то одеяла. Какая-то рука из стены. Высокая колеблющаяся тень. Еще тень. Какая-то белая пена. И снова длинная колеблющаяся тень.

Но это были хаотические видения. Они напоминали сны. Они были почти нереальны. Сквозь них я хотел увидеть хотя бы тень моей матери, ее образ, ее фигуру, склоненную над моей кроваткой. Нет, мне не удалось этого сделать. Очертания сливались. Тени исчезали, и за ними снова была — пустота, тьма, ничто… Как сказал поэт:

Все в мутную слилося тень,

То не было — ни ночь, ни день.

То было — тьма без темноты,

То было — бездна пустоты

Без протяженья и границ,

То были образы без лиц.

То страшный мир какой-то был

Без неба, света и светил.[56]

Это был мир хаоса. Он исчезал от первого прикосновения моего разума.

И мне не удалось проникнуть в этот мир.

Нет сомнения — это был иной мир, иная планета, с иными, необыкновенными законами, которые не контролируются разумом.

3

Как же, однако, живет маленькое существо в этом хаосе? — подумал я. Чем оно защищается от опасностей, не имея разума, логики?

Или защиты нет, а все предоставлено случаю, заботам родителей?

Но ведь даже имея родителей, небезопасно жить в этом мире колеблющихся теней.

Тогда я раскрыл учебники и труды физиологов, желая посмотреть, что говорит наука об этом смутном периоде человеческой жизни.

Я увидел, что в книгах записаны поразительные законы, — их вывели ученые, наблюдая над животными.

Это были необыкновенно строгие и точные законы, по-своему оберегающие маленькое существо.

Неважно, что нет разума и нет логики. Их заменяет особая реакция организма — рефлекс, то есть своеобразный ответ организма на любое раздражение, которое ребенок получил извне. Эта реакция, этот ответ и являются защитой организма от опасностей.

В чем же заключается этот ответ?

Два основных нервных процесса характеризуют рефлекторную деятельность — возбуждение и торможение. Комбинация этих процессов дает тот или иной ответ. Но все разнообразие этой мозговой деятельности сводится, в сущности, к простейшей функции — к мышечному движению. То есть в ответ на любое раздражение происходит мышечное движение или комбинация этих движений, непременно целесообразных по своему характеру.

И принцип этого рефлекса в одинаковой мере относится и к человеку, и к животному, и к младенцу.

Стало быть, не хаос, а строжайший порядок, освященный тысячелетиями, охраняет маленькое существо.

И, стало быть, первое знакомство с миром происходит по принципу этого рефлекса. И первые встречи с вещами вырабатывают привычку так или иначе к ним относиться.

4

Я прошу извинения — мне приходится говорить о предметах, весьма вероятно, знакомых просвещенному читателю.

Мне приходится говорить об элементарных вещах в расчете на то, что не все читатели твердо знают эти вещи. Быть может, они кое-что из этого позабыли и им нужно напомнить. Иные же просвещенные читатели, надо полагать, и вовсе ничего не знают, не находя интересным копаться в формулах, взятых из жизни собак.

А те, которые все знают и все помнят и, быть может, сами в этом работают, — те пусть не посетуют на меня, пусть без раздражения пробегут глазами две небольшие главки.

Я буду говорить о высшей психической функции, вернее, об истоках ее — о рефлексах.

Это все равно что говорить о первичной материи, из которой создан мир. Это одинаково важно, ибо в этом — истоки разума, истоки сознания, истоки добра и зла.

Когда-то великий ученый Ньютон вывел закон тяготения, увидев яблоко, упавшее с дерева. Не менее простая сцена позволила великому русскому ученому Павлову вывести закон условных рефлексов.

Ученый заметил, что собака в одинаковой мере реагирует и на еду, и на шаги служителя, который несет эту еду. И на еду, и на шаги слюнная железа собаки действовала одинаково. Стало быть, подумал ученый, в мозгу собаки возникают два очага возбуждения, и эти очаги между собой условно связаны.

Шаги служителя ученый заменил вспышкой света, стуком метронома, музыкальным звуком — слюнная железа собаки действовала одинаково. В том, конечно, случае, если эти новые раздражители хотя бы несколько раз совпали с моментом кормления.

Эти новые раздражители (свет, звук, гамма), повторенные несколько раз (в момент кормления), создавали новые нервные связи, весьма условные по своему характеру.

Другими словами — условный стук (или любой иной раздражитель) вызывал у собаки представление о еде. И на этот условный сигнал собака реагировала совершенно так же, как она реагировала на еду.

Эту условную нервную связь, которая возникала в коре мозга между двумя очагами возбуждения, ученый назвал «временной связью». Это была временная: связь, ибо она исчезала, если не повторялись опыты.

Это было поразительное открытие.

5

Тогда ученый усложнил свои опыты.

Через лапу собаки он пропускал электрический ток. Эта операция сопровождалась стуком метронома.

Эта операция была повторена несколько раз. И в дальнейшем только лишь один стук метронома вызывал у собаки болевую реакцию.

Другими словами — условный раздражитель (метроном) создавал очаг возбуждения в коре мозга, и этот очаг «зажигал» второй очаг (боль), хотя раздражитель этого очага отсутствовал. Нервная связь между двумя очагами продолжала существовать.

Тогда ученый увидел, что можно чисто материальными средствами вмешиваться в работу центральной нервной системы, можно строить любые нервные связи по своему усмотрению.

Ученый получил возможность управлять поведением животного, создавать в его мозгу новые механизмы.

Найден был общий физиологический закон, в основе которого лежала простейшая функция высшей психической деятельности — рефлекс.

Этот закон в равной мере относился как к норме, так и к патологическому состоянию.

Это было великое открытие, ибо оно рассеивало мрак в той области, в которой в первую очередь должна была быть абсолютная ясность, — в области сознания.

Только ясность в этой области позволяла человеческому разуму идти дальше, а не возвращаться вспять — к дикости, к варварству, к мраку.

Это было величайшее открытие, ибо оно в одинаковой мере относилось и к животному, и к человеку, и тем более к младенцу, поведение которого не контролируется сознанием, логикой.

И в свете этого закона поведение младенца становилось ясным.

Младенец знакомится с миром, с окружающими вещами по принципу этого условного рефлекса.

Каждый новый предмет, каждая новая вещь создает в коре мозга младенца новые нервные связи, новые отношения. Эти нервные связи, так же как и у собаки, чрезвычайно условны.

Стук метронома вазывал у собаки болевую реакцию. Крик, хлопание дверью, выстрел, вспышки света, любой раздражитель, случайно совпавший, скажем, с моментом кормления ребенка и повторенный несколько раз, мог создать сложные нервные связи в мозгу младенца.

Вид шприца вызывал у собаки рвоту. Вид любого предмета, случайно причинившего ребенку боль, мог и в дальнейшем причинять ему страдания.

Правда, для возникнвения этого рефлекса нужна была повторяемость. Ну что ж! Повторяемость могла случиться.

Но ведь эти нервные связи названы были временными. Они погасали, если не повторялись опыты.

Тут был вопрос, который следовало тщательно продумать. Ученый предложил только лишь простейший принцип, проверенный им на собаках. Психика человека сложней. Умственное развитие человека не остается на одном уровне — оно изменяется, прогрессирует. И, стало быть, изменяются и нервные связи — они могут быть чрезвычайно сложны и запутаны.

Смерть помешала ученому продолжить свои опыты над животными, близкими человеку, — над обезьянами. Эти опыты были начаты.

Опыты над человеком не были произведены в той мере, как это надлежало сделать. Это великое открытие — этот закон условный рефлексов, закон временных нервных связей — я хотел применить к своей жизни.

Я хотел увидеть этот закон в действии, на примерах моей младенческой жизни.

Мне показалось, что мое несчастье могло возникнуть оттого, что в моем младенческом мозгу созданы были неверные условные связи, которые устрашали меня в дальнейшем. Мне показалось, что меня страшит шприц, которым когда-то был впрыснут яд.

Мне захотелось разрушить эти ошибочные механизмы, возникшие в моем мозгу.

Но снова передо мной лежало препятствие — я ничего не мог вспомнить о своей младенческой жизни.

Если б я мог припомнить хотя бы одну сцену, одно происшествие, — я бы распутал дальнейшее. Нет, все было окутано туманом забвения.

А мне кто-то сказал, что надо пойти на то место, где что-то забыто, и тогда можно вспомнить это забытое.

Я спросил своих родных, где мы жили, когда я был ребенком. И родные мне сказали, где я жил первые годы своей жизни.

Это были три дома. Но один дом сгорел. В другом доме я жил, когда мне было два года. В третьем доме я провел не менее пяти лет, начиная с четырехлетнего возраста.

И еще был один дом. Этот дом был в деревне, куда ездили мои родители каждое лето.

Я записал адреса и с необычайным волнением пошел осматривать эти старинные дома.

Я долго смотрел на тот дом, в котором я жил трехлетним ребенком. Но я решительно ничего не мог вспомнить.

И тогда я пошел к тому дому, в котором я прожил пять лет.

У меня сердце упало, когда я подошел к воротам этого дома.

Боже мой! Как все здесь мне было знакомо. Я узнал лестницу, маленький сад, ворота, двор.

Я узнал почти все. Но как это было непохоже на то, что было в моей памяти.

Когда-то дом казался огромной махиной, небоскребом. Теперь передо мной стоял захудалый трехэтажный домишко.

Когда-то сад казался сказочным, таинственным. Теперь я увидел маленький жалкий скверик.

Казалось, массивная высокая чугунная решетка опоясывала этот садик. Теперь я трогал жалкие железные прутья не выше моего пояса.

Какие иные глаза были тогда и теперь!

Я поднялся на третий этаж и нашел дверь нашей квартиры.

Мое сердце сжалось от непонятной боли. Я почувствовал себя плохо. И судорожно схватился за перила, не понимая, что со мной, почему я так волнуюсь.

Я спустился вниз и долго сидел на тумбе у ворот. Я сидел до тех пор, пока не подошел дворник. Подозрительно посмотрев на меня, он велел мне уйти.

7

Я вернулся домой совершенно больной, разбитый, непонятно чем расстроенный. В ужасной тоске я вернулся домой. И теперь эта тоска не оставляла меня ни днем ни ночью.

Днем я слонялся по комнате — не мог ни лежать, ни сидеть. А ночью меня мучили какие-то ужасные сны.

Я раньше не видел снов. Вернее, я их видел, но я их забывал. Они были краткие и непонятные. Я их видел обычно под утро.

Теперь же они появлялись, едва я смыкал глаза.

Это даже не были сны. Это были кошмары, ужасные видения, от которых я в страхе просыпался.

Я стал принимать бром, чтоб погасить эти кошмары, чтоб быть спокойней. Но бром плохо помогал мне.

Тогда я пригласил одного врача и попросил дать мне какое-нибудь средство против этих кошмаров.

Узнав, что я принимаю бром, врач сказал:

— Что вы делаете! Наоборот, вам нужно видеть сны. Они возникают у вас оттого, что вы думаете о своем детстве. Только по этим снам вы разберетесь в своей болезни. Только в снах вы увидите те младенческие сцены, которые вы ищете. Только через сон вы проникнете в далекий забытый мир.

И тогда я рассказал врачу свой последний сон, и он стал растолковывать его. Но он так толковал этот сон, что я возмутился и не поверил ему.

Я сказал, что я видел во сне тигров и какую-то руку из стены.

Врач сказал:

— Это более чем ясно. Ваши родители слишком рано повели вас в зоологический сад. Там вы видели слона. Он напугал вас своим хоботом. Рука — это хобот. Хобот — это фаллос. У вас сексуальная травма.

Я не поверил этому врачу и возмутился. И он с обидой ответил мне:

— Я вам растолковал сон по Фрейду. Я его ученик. И нет более верной науки, которая бы вам помогла.

Тогда я пригласил еще несколько врачей. Один смеялся, говоря, что толкование снов — это вздор. Другие, наоборот, придавали снам большое значение.

Среди этих врачей был один весьма умный врач. И я был ему очень признателен. И даже хотел стать его учеником. Но потом отказался от этого. Мне показалось, что он неправ. Я не поверил в его лечение.

Он был ужасный противник Павлова. Кроме опытов зоологического характера, он ничего не видел в его работах. Он был правоверный фрейдист. В каждом поступке ребенка и взрослого он видел сексуальное. Каждый сон он расшифровывал как сон эротомана.

Это толкование не совпадало с тем, что я считал непогрешимым, не совпадало с методом Павлова, с принципом условных рефлексов.

8

Однако меня поразил метод его лечения. Есть нечто комичное в толковании снов. Мне казалось, что этим заняты выжившие из ума старухи и мистически настроенные люди.

Мне казалось, что это несовместимо с наукой. Я был очень удивлен, когда узнал, что вся медицина возникла, в сущности, из одного источника из одного культа — из науки о снах. Вся древняя, так называемая храмовая, медицина развивалась и культивировалась на единственной основе — на толковании снов. В этом заключался культ Эскулапа — сына Аполлона, бога врачевания, у греков — Асклепия.

Почему же такое значение придавали снам? Какие мотивы имелись для этого? Неужели только мотивы религиозные и мистические? Неужели ничего разумного не лежало за этим? Ведь древний мир не был варварским. Древний мир дал нам замечательных философов, писателей, ученых. Наконец, замечательных врачей — Гиппократа, Галена.[57]

Как же лечили эти врачи? История медицины рассказывает о древнем методе лечения.

Больного оставляли на ночь в храме. Там он видел сон. И утром рассказывал о нем жрецам и ученым. И те ставили диагноз, какого рода недомогание у больного, и, растолковывая его сон, освобождали якобы больного от страданий.

Эта древняя медицина имела, конечно, тесную связь с жрецами и религиозными мистическими приемами. Приносились жертвы в честь бога врачевания. Вся торжественная и таинственная обстановка лечения, несомненно, могла действовать на воображение больного, могла вызывать в нем веру в могущество бога врачевания. Может быть, на основе этого самогипноза и происходило излечение?

Нет сомнения, это имело значение, но это не являлось единственной причиной излечения.

История медицины говорит, что в дальнейшем религиозные обряды, связанные с лечением, прекратились. В храмах устраивали нечто вроде санаторий. Причем в храмах стали возникать медицинские школы и корпорации врачей. Именно из храмовых школ вышли Гиппократ и Гален.

Как же, однако, возникла эта идея — толковать сны? Почему эта идея легла в основу древней медицины? Отчего это перестало быть наукой? И почему в новейшее время многие врачи и ученые, и в том числе Фрейд, пробуют сделать из этого научную дисциплину?

Я не мог ответить себе на эти вопросы.

И тогда я раскрыл учебники медицины и труды физиологов, чтобы посмотреть, что говорит современная наука о снах и сновидениях и о возможности через сон проникнуть в далекий забытый мир младенца.

9

Что же такое сон с точки зрения современной науки?

Прежде всего это такое физиологическое состояние, при котором все внешние проявления сознания отсутствуют. Вернее, все высшие психические функции исключены, низшие функции — открыты.

Павлов считал, что ночью человек разобщается с внешним миром. И во время сна оживают заторможенные силы, подавленные чувства, заглушенные желания.

Это происходит оттого, что в механизме сна лежит торможение. Но это торможение частичное: оно не охватывает целиком весь наш мозг, не охватывает все пункты больших полушарий. Это торможение не спускается ниже подкорковых центров.

Наш мозг, по мнению физиологов, имеет как бы два этажа. Высший этаж — это кора мозга. Здесь — центр контроля, логики, критики, центры приобретенных рефлексов, здесь жизненный опыт. И низший этаж — источник наследственных рефлексов, источник животных навыков, животных сил.

Два эти этажа соединены между собой нервными связями, о которых мы говорили.

Ночью высший этаж погружается в сон. В силу этого сознание отсутствует. Отсутствует контроль, критика, условные навыки.

Низший этаж продолжает бодрствовать. Однако отсутствие контроля позволяет его обитателям проявляться в той или иной степени.

Допустим, логика или умственное развитие затормозило или оттеснило когда-то возникший страх ребенка. При отсутствии контроля этот страх может вновь возникнуть. Но он возникает в сновидениях.

Стало быть, сновидение есть продолжение духовной жизни, продолжение психической деятельности человека при отсутствии контроля.

И, стало быть, сновидение может объяснить, какого рода силы тормозят человека, что устрашает его и что можно изгнать светом логики, светом сознания.[58]

Становится понятным, почему древняя медицина придавала снам такое значение.

Вместе с тем приходится удивляться: современная наука только лишь недавно сумела разобраться в механизмах нашего мозга. Между тем на заре человеческой культуры, несколько тысячелетий назад, возникла идея — найти то, что во время сна не контролируется.

Мы не знаем, кому принадлежит честь создания древней медицины. В основе этой древней науки была светлая идея, блестящая мысль гениального человека.

Из рук гения эта идея перешла в руки бездарных, посредственных людей. И те в соответствии со своими возможностями свели ее до своего уровня, до степени шарлатанства.

Нечто комическое стало присутствовать в этой идее. Современный человек не может без улыбки рассматривать старинные сонники, старинные толкователи снов. Чушь и вздор присутствуют на каждой странице этих старинных книг.

Правильная идея была опошлена до такой степени, что разобраться в ней не представлялось возможным.

И только в свете современной физиологии эта идея — проникнуть в психику больного, понять, что вызывает торможение, — становится ясной.

Вот почему в новейшее время ученые пробуют заново подойти к снам, пробуют через сны увидеть источник психоневрозов, пробуют заново понять то, что могло казаться трагедией человеческого разума.

10

Итак, два этажа имеет наш мозг — высший и низший.

Жизненный опыт, условные навыки уживаются с наследственным опытом, с навыками наших предков, с навыками животных.

Как бы два мира заключены в сложном аппарате нашего мозга — мир цивилизованный и мир животного.

Два эти мира находятся нередко в конфликте. Высшие силы борются с низшими. Побеждают их, оттесняют еще ниже, а иной раз изгоняют вовсе.

Казалось, именно в этой борьбе — источник многих нервных страданий.

Однако беды лежат совершенно не в этом.

Мне не хотелось бы забегать слишком вперед, но я вкратце скажу. Даже если допустить, что этот конфликт высшего с низшим является причиной нервных страданий, то эта причина не всеобъемлющая, это лишь частичная причина, далеко не главная и не основная.

Этот конфликт высшего с низшим мог (допустим) привести к некоторым сексуальным психоневрозам. И если б наука увидела в этом конфликте, в этой борьбе, единственную причину — она не пошла бы дальше раскрытия сексуальных торможений.

Борьба же в этой области есть в какой-то мере норма, а не патология.

Мне кажется, что система Фрейда порочна именно в этом пункте.

Этот порок, эту ошибку легко было совершить, не учитывая механизмов, раскрытых Павловым.

Неточность в первоначальных установках, расплывчатость в формулировках борьбы высшего с низшим создавали неточный вывод, уводили в одну сторону, в сторону сексуальных отклонений. А это не определяло дела. Это было лишь частью одного целого.

11

В конфликте высшего с низшим, в столкновении атавистических влечений с чувством современного цивилизованного человека Фрейд видел источник нервных страданий. Фрейд писал:

«Запрещенные ходом культурной жизни и вытесненные в глубины подсознания, эти влечения существуют и дают о себе знать, прорываясь в наше сознание в искаженном виде…»[59]

Стало быть, в победе разума над животными инстинктами была усмотрена причина трагедии. Другими словами — высокий разум подвергнут сомнению.

История человеческой мысли знает многочисленные примеры, когда разуму приписывались беды, когда высокое сознание подвергалось нападкам, и, стало быть, трагедию человеческого разума люди видели иной раз — в высоком сознании, в конфликте высшего с низшим. Им казалось, что победа сознания над низшими инстинктами несет беду, несет болезни, нервные страдания, слабость духа, психоневрозы.

Это казалось трагедией, из которой был единственный выход — возврат к прошлому, возврат к природе, уход от цивилизации. Казалось, что пути человеческого разума — ошибочны, искусственны, ненужны.

Я не считаю эту философию тождественной с философией фашизма. У фашизма иные корни, иная природа, но в отношении к разуму фашизм почерпнул нечто от этой философии, исказив ее, — упростив, снизив до уровня тупоумных людей.

Возврат к варварству — это не есть формулировка, предложенная фашизмом только лишь для нужд войны. Это есть одна из основных установок для будущего облика человека с точки зрения, фашизма.

Лучше — варварство, дикость, инстинкты животного, чем дальнейший прогресс сознания.

Нелепость!

Люди, искусственно ввергнутые в варварство, ни в какой мере не избавились бы от тех нервных страданий, которые их тревожат. Землю населяли бы мерзавцы, с которых снята ответственность за их подлости. Но это были бы мерзавцы, которые не избавились бы от нервных страданий. Это были бы страдающие мерзавцы, еще в большей степени нездоровые, чем прежде.

Вернуться к гармоническому варварству, о котором фантазировали люди, — не представлялось возможным даже и тысячи лет назад. А если б такая возможность имелась — источник страданий остался бы. Ибо остались бы механизмы мозга. Мы не в силах их уничтожить. Мы можем только лишь научиться обращаться с ними. И мы должны этому научиться с тем искусством, которое достойно высокого сознания.

Эти механизмы, открытые Павловым, мы должны изучить в совершенстве. Уменье обращаться с ними освободит нас от тех огромных страданий, которые терпят люди с варварским смирением.

Трагедия человеческого разума происходит не от высоты сознания, а от его недостатка.

12

Наука несовершенна. Истина — дочь времени. Будут найдены иные, более точные пути. Пока же с помощью тщательного анализа сновидения мы можем заглянуть в далекий мир младенца, в тот мир, который не контролируется разумом, в тот мир забвения, откуда иной раз берут начало источники наших бед.

И тогда сон может объяснить причину патологического торможения, а павловская система условных рефлексов на примерах этих сновидений может устранить беду. То, что заторможено, может быть раскрыто.

Это заторможение можно снять светом логики, светом высокого сознания, а не тусклым светом варварства.

И вот, все это продумав, я понял, что я могу теперь попытаться проникнуть в замкнутый мир младенца. Ключи были в моих руках.

Ночью откроются двери нижнего этажа. Часовые моего сознания уснут. И тогда тени прошлого, томящиеся в подполье, появятся в сновидениях.

Я захотел немедленно встретиться с этими тенями, увидеть их, чтобы, наконец, понять мою трагедию или ошибку, совершенную на заре жизни, перед восходом солнца.

Я захотел вспомнить какой-нибудь сон из тех недавних снов, какие я во множестве видел. Однако ни одного сна полностью я не мог припомнить. Я забыл.

Тогда я стал думать, какие же сны я чаще всего вижу, о чем эти сны.

И тут я припомнил, что чаще всего я вижу тигров, которые входят в мою комнату, нищих, которые стоят у моих дверей, и море, в котором я купаюсь.

VI. ЧЕРНАЯ ВОДА

Как свинец, черна вода,

В ней забвенье навсегда.[60]

1

Я случайно поехал в деревню, где провел свое детство.

Я давно собирался туда съездить. И вот, гуляя по набережной, я увидел пароход, стоящий у пристани. Почти машинально я сел на этот пароход и поехал в деревню.

Это была деревня Пески по Неве, недалеко от Шлиссельбурга.

Более двадцати лет я не был в этих местах.

Пароход не остановился у деревни Пески. Там теперь не было пристани. Я переехал Неву на лодке.

Ах, с каким волнением я вышел на берег! Я сразу узнал маленькую круглую часовенку. Она была цела. Я сразу вспомнил избы напротив, деревенскую улицу и крутой подъем с того берега, где когда-то была пристань.

Все теперь казалось жалким, миниатюрным в сравнении с тем грандиозным миром, который остался в моей памяти.

Я шел по улице, и все здесь до боли мне было знакомо. Кроме людей. Ни одного человека я не мог узнать во встречных людях.

Тогда я зашел во двор того дома, где мы когда-то жили.

Во дворе стояла немолодая женщина. У нее в руках было весло. Она только что прогнала какого-то теленка со двора. И теперь стояла разгневанная, разгоряченная.

Она не захотела со мной говорить. Но я назвал несколько фамилий тех деревенских жителей, о которых я вспомнил.

Нет, все эти фамилии принадлежали уже умершим людям.

Тогда я назвал свою фамилию, фамилию моих родителей. И женщина заулыбалась. Она сказала, что она тогда была совсем молодой девушкой, но она отлично помнит моих покойных родителей. И тогда она стала называть фамилии наших родственников, живших здесь, фамилии знакомых. Нет, все названные фамилии также принадлежали умершим людям.

С грустью я возвращался к своей лодке.

С грустью я шел по деревенской улице. Только улица и дома были те же. Обитатели были иные. Прежние пожили здесь, как гости, и ушли, исчезли, чтоб никогда сюда не вернуться. Они умерли.

Мне показалось, что в тот день я понял, что такое жизнь, что такое смерть и как надо жить.

2

С превеликой грустью я вернулся домой. И дома не стал даже думать о своях поисках, о своем детстве. Все сделалось мне безразличным.

Все показалось вздором, чушью в сравнении с той картиной короткой жизни, которую я увидел сегодня. Стоит ли думать, бороться, искать, защищаться? Стоит ли «по-хозяйски» располагаться в жизни, которая проходит так стремительно, с такой обидной, даже комичной быстротой?

Не лучше ли безропотно прожить, как живется, и уступить свое жалкое место иным побегам земли?

Кто-то засмеялся в соседней комнате, когда я думал об этих вещах. И мне показалось странным и диким, что люди могут смеяться, шутить и даже говорить, когда все так глупо, бессмысленно, обидно.

Мне показалось, что легче и проще умереть чем покорно и тупо ждать той участи, которая ожидает каждого. В этом решении я неожиданно увидел мужество. Как был бы я поражен, если б тогда мне сказали о том, о чем теперь я знаю, — это было вовсе не мужество, это была крайняя степень инфантильности. Это было продиктовано страхом младенца перед тем, что я хотел найти. Это было сопротивление. Это было бегство.

Я решил прекратить свои поиски. И с этим решением я заснул.

Ночью я в страхе проснулся от какого-то ужасного сна. Страх был так силен, что, даже проснувшись, я продолжал дрожать.

Я зажег лампу и записал свой сон, чтоб утром о нем подумать, хотя бы из любопытства.

Однако я не смог уснуть и стал думать об этом сне.

В сущности, сон был чрезвычайно глупый. Бурная темная река. Мутная, почти черная вода. По воде плывет что-то белое — бумага или тряпка. Я на берегу. Что есть духу бегу прочь от берега. Бегу по полю. Поле почему-то синее. И кто-то гонится за мной. И вот-вот хочет схватить меня за плечо. Уже рука этого человека дотрагивается до меня. Рванувшись вперед, я убегаю.

Я стал обдумывать этот сон, но ничего не понял.

Тогда я стал думать, что вот опять я увидел во сне воду. Эту темную, черную воду… И вдруг вспомнил стихи Блока:

Старый, старый сон… Из мрака

Фонари бегут — куда?

Там лишь черная вода.

Там забвенье навсегда…

Этот сон был похож на мой сон.

Я бежал от черной воды, от «забвенья навсегда».

3

Я стал припоминать сны, связанные с водой. Вот я купаюсь в бурном море. Борюсь с волнами. Вот куда-то бреду по колено в воде. Или сижу на берегу, а вода плещется у моих ног. Либо иду по самому краю набережной. И вдруг вода поднимается все выше и выше. Страх охватывает меня. Я убегаю.

Я вспомнил еще один сон. Я сижу в своей комнате. Вдруг из всех щелей пола начинает просачиваться вода. Еще минута — и комната наполняется водой.

Обычно после таких снов я просыпался угнетенный, больной, в дурном расположении духа. Обычно моя тоска усиливалась после таких снов.

Может быть, частые наводнения в Ленинграде повлияли на мою психику? Может быть, что-нибудь еще было связано с водой?

Я стал припоминать те сцены, которые я записал в поисках несчастного происшествия. Я снова вспомнил рассказ об утопленнике, рассказ о наводнении, сцены того, как чуть не утонул я, моя сестра.

Нет сомнения, вода была связана с каким-то сильным ощущением. Но с каким?

Может быть, я вообще боюсь воды? Нет. Наоборот. Я чрезвычайно люблю воду. Я могу часами любоваться морем. Могу часами сидеть на берегу реки. Я обычно езжу только туда, где есть море, река. Я всегда стремился найти комнату с окнами на воду. Я всегда мечтал жить где-нибудь на берегу, совсем близко к воде, так, чтобы волны были почти у крыльца моего дома.

Море или река нередко возвращали мне спокойствие в той тоске, которая посещала меня так часто.

А что, если это не любовь к воде, а страх? Что, если за этой преувеличенной любовью таится почтительный страх?

Может быть, я не любуюсь водой, а слежу за ней? Может быть, я любуюсь ею, когда она тихая, когда она не собирается меня поглотить?

Может быть, я слежу за ней с берега, из окна моей комнаты? Может, я располагаюсь поближе к ней, чтоб быть настороже, чтоб она не застала меня врасплох?

Может быть, это тот страх, который не доходит до моего сознания, который гнездится в нижнем этаже моей психики, оттесненный туда логикой, контролем разума?

Я засмеялся — так это было комично и вместе с тем, видимо, правильно.

Не оставалось никакого сомнения — страх к воде присутствовал в моем разуме. Но он был деформирован. Он был не в том виде, как мы его понимаем.

4

Тогда мне показалось, что я понял свой сон. Он, несомненно, относился к младенческим дням. Чтобы его понять, нужно было отвлечься от обычных представлений, нужно было мыслить образами младенца, видеть его глазами.

Конечно, не в полной мере его образами — они, несомненно, были слишком бедны. Они изменялись вместе с развитием. Но символика их, видимо, оставалась прежней.

Мутная бурная река — это ванна или корыто с водой. Синий берег — одеяло. Белая тряпка — пеленка, которая оставалась в корыте. Ребенка вынули из воды, в которой его купали. Ребенок «спасен». Но угроза осталась.

Я снова засмеялся. Это было комично, но достоверно. Это было наивно, но не более наивно, чем должно быть.

Но как же это могло случиться? Все младенцы купаются. Всех ребят погружают в воду. У них не остается страха. Почему же я был устрашен?

Значит, вода не была первопричиной, подумал я. Значит, имелись еще какие-то объекты устрашения, связанные с водой.

Тут я вспомнил принцип условных рефлексов.

Один раздражитель мог вызвать два очага возбуждения, ибо между ними могла быть налажена условная нервная связь.

Только лишь вода, в которую меня погружали, не могла создать волнение в такой степени, как это было. Значит, вода условно связана еще с чем-то. Значит, это не был страх к воде, но вода вызывала страх, ибо нервные связи соединяли ее еще с какой-то опасностью. Вот в какой сложности решался этот вопрос, и вот почему вода могла устрашать.

Однако с чем же связана вода? Какого рода «яд» она содержала? В чем заключается второй несчастный раздражитель, «зажигающий» комбинацию столь бурного ответа?

Я пока не стал гадать о втором раздражителе, о втором очаге возбуждения, к которому так явственно тянулись нервные связи.

Впрочем, этот раздражитель был уже отчасти виден из того же сна. Мир младенца беден. Объекты весьма ограничены в своем количестве. Раздражители немногочисленны. Но моя неопытность не позволила мне сразу отыскать этот второй раздражитель.

Загадка не была разгадана, но ключи от нее были в моих руках.

Дальнейшее показало, что в основном я не ошибся. Я ошибся только в количестве очагов возбуждения — их оказалось не два, а несколько. И они были переплетены между собой сложнейшей сетью условных связей.

Комбинация возникших очагов возбуждения давала тот или иной ответ.

5

Принцип условных рефлексов говорит о том, что нервные связи имеют временный характер. Нужна повторяемость опытов, чтобы они возникли и утвердились. Без опытов они угасают или исчезают вовсе.

Ну что ж. Вода в данном случае являлась превосходным и частым раздражителем в жизни младенца. Повторяемость несомненно была. Я не знал еще, какого рода был второй раздражитель, по мне было понятно, что его условная связь с водой могла утвердиться.

Но ведь потом, с развитием ребенка, эта связь должна была исчезнуть. Ведь повторяемость не могла продолжаться вечно. Ведь если не ребенок и не юноша, то, наконец, зрелый мужчина смог бы разорвать эту неправильную, ложную связь. А она была неправильна, ошибочна — это очевидно.

Умственное развитие действительно борется с неверными, ложными, нелогичными представлениями. Однако ребенок, развиваясь, мог встретиться с иными, более логичными доказательствами опасности того, чего он боятся.

Снова я стал пересматривать свои воспоминания, связанные с водой.

Доказательства опасности воды были на каждом шагу.

В воде тонут люди. Я могу утонуть. Вода заливает город. В воду бросаются, чтобы умереть.

Какие веские доказательства опасности воды!

Нет сомнения — это могло устрашить ребенка, доказать ему, что младенческое его представление правильно. Эти своего рода «ложные» доказательства могли сопровождать меня всю жизнь. Это, несомненно, так и было. Вода сохраняла элементы устрашения, питала младенческий страх. Возникшие временные связи с водой могли не исчезать, они могли все сильней и крепче утверждаться.

Значит, умственное развитие человека не уничтожает временных условных связей, они только перестраивает их, поднимает эти ложные доказательства на уровень своего развития. И, быть может, угодливо выискивает эти доказательства, не слишком проверяя их, ибо они и без проверки уживаются с логикой, падая на больную почву.

Эти ложные доказательства нередко сливаются с подлинными доказательствами. Вода действительно опасна. Но невротик воспринимает эту опасность не в том качестве, и реакция его на эту опасность также не в том качестве, как это должно быть в норме.

6

Но если это так, если вода была одним из элементов устрашения, одним из раздражителей в комбинации моего психоневроза, то какая же печальная и жалкая картина открывалась моему взору!

Ведь именно водой меня и лечили. Именно водой и пробовали избавить меня от тоски.

Мне прописывали воду и вовнутрь, и снаружи.

Меня сажали в ванны, завертывали в мокрые простыни, прописывали души. Посылали на море — путешествовать и купаться.

Боже мой! От одного этого лечения могла возникнуть тоска.

Это лечение могло усилить конфликт, могло создать безвыходное положение.

А ведь вода была только частью беды, может быть, ничтожной частью.

Лечение, впрочем, не создавало безвыходного положения. Этого лечения можно было избежать. Я так и поступил. Я перестал лечиться.

Для того чтобы не лечиться, я выдумал нелепую теорию о том, что для полноты здоровья человек должен все время и без перерыва работать. Я перестал ездить на курорты, считая это излишней роскошью.

Таким образом я освободился от лечения.

Но я не мог освободиться от постоянного столкновения с тем, что меня устрашало. Страх продолжал существовать.

Этот страх был неосознан. Об его существовании я не знал, ибо он был вытеснен в нижний этаж моей психики. Часовые моего разума не выпускали его на свободу. Он имел право выходить только ночью, когда мое сознание не контролировало его.

Этот страх жил ночной жизнью, в сновидениях. А днем, в столкновении с объектом устрашения, он проявлялся только косвенным образом — в непонятных симптомах, кои могли сбить с толку любого врача.

Мы знаем, что такое страх, знаем его воздействие на работу нашего тела. Мы знаем его оборонительные рефлексы. В основе их — стремление избежать опасности.

Симптомы страха разнообразы. Они зависят от силы страха. Они выражаются в сжатии кровеносных сосудов, в спазмах кишечника, в судорожном сокращении мышц, в сердцебиениях и так далее. Крайняя степень страха вызывает полный или частичный паралич.

Именно такие симптомы создавал неосознанный страх, который я испытывал. В той или иной степени они выражались в сердечных припадках, в задержке дыхания, в спазмах, в судорожном подергивании мышц.

Это были прежде всего симптомы страха. Хроническое присутствие его нарушало нормальные функции тела, создавало стойкие торможения, вело к хроническим недомоганиям.

В основе этих симптомов была «целесообразность» — они преграждали мой путь к «опасности», они подготовляли бегство.

Животное, которое не может избежать опасности, притворяется мертвым.

Подчас я притворялся мертвым, больным, слабым, когда было невозможно уйти от «опасности».

Все это было ответом на раздражение, полученное извне. Это был сложный ответ, ибо условные нервные связи, как в дальнейшем увидим, были весьма сложны.

7

Можно допустить, что так поступает ребенок, желая избежать «опасности». Но как поступает взрослый?

Как поступал я? Неужели я не боролся с этим вздором? Неужели только спасался бегством? Неужели я действительно был несчастной пылинкой, гонимой любой случайностью?

Нет, я боролся с этим, защищался от этой неосознанной беды. И эта защита всякий раз была в соответствии с моим развитием.

В детские годы поведение сводилось главным образом к бегству и в какой-то мере к желанию овладеть водой, «освоить» ее. Я пробовал научиться плавать. Но я не научился. Страх цепко держал меня в своих руках.

Я научился плавать только юношей, поборов этот страх.

Это была первая победа и, пожалуй, единственная. Я помню, как я был горд этим.

Мое сознание и в дальнейшем не уводило меня от этой борьбы. Наоборот, мое сознание вело меня к этой борьбе. Всякий раз я стремился скорей встретиться с моим могущественным противником, чтобы еще раз помериться с ним силами.

Именно в этом и лежало противоречие, которое маскировало страх.

Я не избегал пароходов, лодок, я не избегал быть на море. Наперекор своему страху я как бы нарочно шел на это единоборство. Мое сознание не желало признаться в поражениях или даже и малодушии.

Я помню такой случай на фронте. Я вел батальон на позиции. Перед нами оказалась река. Была минута, когда я смутился. Переправа была нетрудная, тем не менее я послал разведчиков вправо и влево, чтобы найти еще более легкие переправы. Я послал их с тайной надеждой найти какой-нибудь пересохший путь через реку.

Было начало лета, и таких путей не могло быть.

Я был смущен только минуту. Я велел позвать разведчиков назад. И повел батальон через реку. Я помню свое волнение, когда мы вошли в воду. Я помню свое сердцебиение, с которым едва справился.

Оказалось, что я поступил правильно. Переправы всюду были одинаковы. И я был счастлив, что не промедлил, что поступил решительно.

Значит, я не был слепым орудием в руках своего страха. Мое поведение всякий раз было продиктовано долгом, совестью, сознанием. Но конфликт, который возникал при этом нередко, приводил меня к недомоганию.

Страх действовал вне моего разума. Бурный ответ на раздражение был вне моего сознания. Но болезненные симптомы были слишком очевидны. Об их происхождении я не знал. Врачи же фиксировали их в грубом счете — как неврозы, вызванные переутомлением, усталостью.

Чувствуя неравенство в силах, тем не менее я продолжал вести борьбу с неосознанным страхом. Но как странно шла борьба! Какие странные пути были найдены для сомнительной победы!

8

Изучением воды тридцатилетний человек хотел освободиться от страха. Борьба пошла по линии знания, по линии науки.

Это было поразительно, ибо сознание участвовало в этой борьбе. Я не в полной мере понимаю, как возникли эти пути. Сознанию не были известны механизмы несчастья, и, быть может, поэтому избран был общий путь, как бы и верный, но для данного случая ошибочный, даже комичный.

Все мои тетради, записные книжки стали заполняться сведениями о воде.

Эти тетради сейчас передо мной. С улыбкой я просматриваю их. Вот записи о самых сильных бурях и наводнениях в мире. Вот подробнейшие цифры — глубин морей и океанов. Вот сведения о наиболее бурных водах. О скалистых берегах, к которым не могут подойти корабли. О водопадах.

Вот сведения об утонувших людях. О первой помощи утопленникам.

Вот запись, подчеркнутая красным карандашом:

«71 процент земной поверхности находится под водой и только 29 процентов суши».

Трагическая запись! Красным карандашом приписано:

«3/4 земного шара — вода!»

Вот еще трагические записи, из которых можно увидеть, каков процент воды в теле людей, животных, растений:

«Рыбы — 70–80 %, медузы — 96 %, картофель — 75 %, кости — 50 %…»

Какая проделана гигантская работа! Какая бессмысленная!

Вот целая тетрадочка исписана сведениями о ветрах. Это понятно: ветер — причина наводнений, причина бурь, штормов.

Кусочек из записи:

«З метра в секунду — шевелятся листья;

10 метров в 1 секунду — качаются большие нетви;

20 метров в 1 секунду — сильный ветер;

30 метров в 1 секунду — буря;

35 метров в 1 секунду — буря, переходящая в ураган;

40 метров в 1 секунду — ураган, разрушающий дома».

Под записью справка: тай — чрезвычайный, фунг — ветер. Тайфунг в 1892 году (остров Маврикия) — 54 метра в секунду!

Вот еще одна тетрадь о наводнениях в Ленинграде.

Перелистывая эти мои тетради, я сначала улыбался. Потом улыбка сменилась скорбью. Какая трагическая борьба! Какой «интеллектуальный» и вместе с тем варварский путь нашло сознание для того, чтобы путем знаний «освоить» противника, уничтожить страх, одержать победу!

Какой трагический путь был найден! Он был в соответствии с моим умственным развитием.

9

Этот путь нашел отражение и в моей литературе.

Но тут я должен оговориться. Я вовсе не хочу, сказать, что этот путь — страх и желание уничтожить его — предопределял мою жизнь, мои шаги, мое поведение, мою меланхолию, мои литературные намерения.

Вовсе нет. Мое поведение оставалось бы точно таким же, как если бы страх отсутствовал. Но страх усложнял шаги, усиливал недомогание, увеличивал меланхолию, которая могла существовать и без него, в силу иных причин, в силу тех обстоятельств, кои в равной степени относились и ко всем людям.

Страх не предопределял путей, но он был одним из слагаемых в сложной сумме сил, действующих на человека.

Было бы ошибкой не учитывать этого слагаемого. Но ошибка была бы еще грубей — воспринимать это слагаемое как сумму, как нечто единственное, действующее на человека.

Только в сложном счете решался вопрос.

Мы видели эту сложность в моем поведении. Основной двигатель был не страх, а иные силы — долг, разум, совесть. Эти силы оказались значительно выше низменных сил.

Мое поведение было в основном разумным. Страх не вел меня за руку, как слепца. Но он присутствовал во мне, нарушал правильную работу моего тела, заставлял избегать «опасностей», если не было более высоких чувств или обязанностей.

В общем прессе он давил на меня и, главным образом, воздействовал на мое физическое состояние.

Мое сознание намерено было устранить его. Умственное развитие избрало путь знаний. Профессиональные навыки литератора также приняли участие в этой борьбе. Среди многих тем, которые меня занимали, была тема, связанная с водой. К этой теме я имел особую склонность.

Полгода я провел над материалами Эпрона,[61] изучая историю гибели «Черного принца».[62]

Работая над этой книгой, я тщательно обследовал все, что к этому относилось. Я выезжал на место работ, знакомился с водолазным делом, собирал литературу о всех изобретениях в этой области.

Закончив книгу «Черный принц», я тотчас принялся собирать материалы о гибели подводной лодки «55». Эту книгу я не закончил. Тема перестала меня занимать, ибо к этому времени я нашел более разумный путь для борьбы.

Итак, изучением воды во всех ее свойствах я хотел освободиться от несчастья, от неосознанного страха. Этот страх не относился даже к воде. Но вода вызывала страх, ибо она была условно связана с иным предметом устрашения.

Борьба против этого, повторяю, находилась в соответствии с моим умственным развитием.

Какая трагическая борьба! Какое горе и какое, поражение она мне сулила! Какие удары были предназначены для моего жалкого тела!

О каких же бедах от высокого сознания можно говорить?

Пока можно лишь говорить о разуме, которому не хватает знаний. Можно говорить о маленьком несчастном дикаре, который бредет по узкой горной тропинке, едва освещенный первыми лучами утреннего солнца.

10

Итак, первые шаги в поисках несчастного происшествия были сделаны.

Несчастное происшествие возникло при первом знакомстве с окружающим миром. Оно произошло в предрассветных сумерках, перед восходом солнца.

Это не было даже происшествием. Это была ошибка, несчастный случай, поразительная комбинация случайностей.

Эта случайность создала неверные, болезненные представления о некоторых вещах, в том числе о воде.

Это была драма, в которой моя вина была не больше, чем страданье.

Однако эта драма до конца еще не раскрыта.

Змею мы рассекли, но не убили,

Она срастется — и опять жива.

Надо было найти условные нервные связи, которые вели от воды к чему-то неизвестному, к чему-то, может быть, еще более страшному. Без этого вода не была бы предметом ужаса.

И вот, уверенный в своих силах, я пошел дальше в поисках моего несчастного происшествия.

VII. ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРИ

Змею мы рассекли, но не убили.

Она срастется — и опять жива.[63]

1

Я часто видел нищих во сне. Грязных. Оборванных. В лохмотьях.

Они стучали в дверь моей комнаты. Или неожиданно появлялись на дороге.

В страхе, а иногда и в ужасе я просыпался.

Я стал думать — почему я вижу нищих. Чем они меня устрашают? Не есть ли нищий — второй условный раздражитель, подобный воде?

Я перелистал свои воспоминания, надеясь среди них найти устрашающие меня сцены.

Нет, образ нищего отсутствовал в моих воспоминаниях. Только лишь одна короткая сценка относилась к трехлетнему возрасту — мать шутливо протянула меня нищему.

Может быть, этот нищий устрашил меня? Может быть, остался неосознанный инфантильный страх, оживающий в моих сновидениях?

Я вспомнил о тех нищих, которых я встречал на улице. Нет, никакого страха я к ним не чувствовал. Никакого волнения не испытывал.

А ведь этот страх должен и днем присутствовать в какой-то, хотя бы самой незначительной степени. Мы видели этот деформированный страх к воде. Он и днем выражался в странных симптомах. Он нашел отражение во всей моей жизни. Я боролся с этим неосознанным страхом путем знаний. Была проделана гигантская борьба. Следы этой трагической бессмысленной борьбы остались в моих записных книжках, в моей литературе.

Тогда я раскрыл свои записные книжки, рассчитывая на их страницах найти следы новой грандиозной борьбы, следы новых схваток с неосознанным противником.

Однако в записных книжках я на этот раз не нашел того, что искал. Не было ни цифр, ни справок. Не было ничего такого, что могло говорить о повышенной заинтересованности к новому объекту.

Тогда я перелистал свои сочинения, книги.

Нет сомнения, тема нищего меня весьма интересовала. Но это был нормальный интерес литератора к социальному явлению.

Эта тема присутствовала только лишь в той степени, в какой ей надлежало присутствовать в сочинениях сатирического писателя. Мне даже показалось, что эта тема недостаточно полно и широко взята.

Я был озадачен. Как же так? Я видел нищих во сне. Нищие меня устрашали. Это очевидно. Однако проходила ночь, вставало солнце, и след нищего терялся в его лучах.

2

Тогда я вновь стал обдумывать свою жизнь, стараясь вспомнить сцены, чем-либо связанные с нищим.

Однако ничего существенного мне не удалось припомнить из этой области. Никаких нищих я не мог вызвать из забвения.

Но вот, напряженно думая о своем детстве, я увидел какой-то нелепый сон.

Пароход. На палубе толпа пассажиров. Эта толпа аплодирует мне. Из толпы выходит весьма моложавый старик. Он цветущий, подтянутый, краснощекий. С цветком в петлице.

Почтительно поклонившись мне, старик произносит:

— О, благодарю вас, молодой человек! Вспомните, какой я был дряхлый, когда мне было 80 лет. Теперь, когда мне стало 60 — я чувствую себя отлично.

Я отвечаю:

— Очень рад, Павел Петрович, что мне удалось вам помочь.

Старик берет меня под руку. Мы с ним торжественно шествуем. Доходим до какой-то двери. Дверь открывается. Старик исчезает.

Вот весь сон. Он кажется абсурдным, бессмысленным. Я даже сначала не хотел о нем думать.

А надо сказать, что этот сон относился к тому периоду, когда я начал собирать материал для моей книги «Возвращенная молодость». Стало быть, какой-то старик благодарил меня за эту мою будущую книгу, которая вернула ему молодость.

Я стал думать об этом толстомордом старике — не видел ли я его в жизни. Нет, эти багровые щеки мне не приходилось раньше видеть.

Но почему же в таком случае я назвал его Павлом Петровичем? Ведь так называют только знакомых.

Я стал перебирать в моей памяти забытые имена. Такого имени я не мог припомнить.

Но тут мое внимание остановилось на двери, до которой я довел старика. Где же я видел эту тяжелую, резную, дубовую дверь? Нет сомнения, я где-то ее видел. Я отлично ее помню. Помню даже медную дощечку на ней. И фамилию на этой дощечке — Чистяков.

Какой же это Чистяков?

Я стал перебирать в своей памяти фамилии. Нет, среди знакомых фамилии этой не имелось.

Был весьма известный художник Чистяков. Но какое же отношение он имел ко мне?

Любопытства ради я открыл энциклопедический словарь, чтоб посмотреть, как звали этого художника. И с удивлением увидел, что имя и отчество его совпадало с тем, что я произнес во сне.

Это был знаменитый русский художник Павел Петрович Чистяков.

Неожиданно я вспомнил — он был начальником моего отца по Академии художеств.

И вдруг с необычайной отчетливостью я припомнил забытую сцену.

3

Зима. Снег. Васильевский остров.

Я с матерью иду по улице. Мы останавливаемся у двери, на которой медная дощечка «Павел Петрович Чистяков».

Я звоню. Дверь открывает швейцар. Мама говорит:

— Скажите его превосходительству, что пришла вдова художника Зощенко.

Швейцар уходит и, вернувшись, говорит:

— Его превосходительство просит вас обождать здесь.

Мы садимся на деревянный диван. Долго сидим, поглядывая на широкую шикарную лестницу. Мы ждем очень долго. Я начинаю хныкать. Мне скучно. Неприятно так долго ждать. Я говорю матери:

— Если он так долго не идет, значит, он не нуждается в нас. Мама, давай уйдем.

Мама тихо говорит мне:

— Не он, а мы нуждаемся в нем. Сейчас, когда папа умер, мы должны получить пенсию. А сколько мы получим, это будет зависеть от Павла Петровича.

Проходит час. Наконец по лестнице спускается старик в черном сюртуке. Старик весьма стар, сухощав, бледен.

Мама почтительно кланяется ему. И о чем-то просит.

Старик что-то брюзгливо отвечает, делая сильное ударение на «о».

Беседа продолжается три минуты.

Мы уходим.

Мама берет меня за руку. И мы снова идем по улице. Я говорю:

— Мама, вот уж я бы не стал так вежливо говорить, как ты с ним говорила.

Мама отвечает:

— Что же делать, Мишенька, — мы от него зависим.

— Все равно. Он плохо с тобой разговаривал. И плохо попрощался — сразу отвернулся.

Мама начинает плакать.

Я говорю маме:

— Да, но он со мною поступил еще хуже, чем с тобой. Он даже не поздоровался со мной и не попрощался. И то я не плачу.

Мама плачет еще сильней.

Чтоб утешить ее, я говорю:

— У меня есть 20 копеек. Если хочешь, я найму извозчика и мы поедем домой.

Я нанимаю извозчика, и мы садимся с мамой в пролетку.

4

Мне показалось, что эта сцена в передней имела значение в моей жизни.

Мне показалось, что эта сцепа устрашила меня.

В самом деле. Снова передо мной был образ нищего. Однако на этот раз нищий я был сам.

Я стоял в передней с протянутой рукой. Я просил. И мне подавали. Быть может, я боялся стать нищим? Боялся очутиться в качестве жалкого просителя? И вот почему образ нищего устрашил меня?

Я стал думать о нищих, которые во множестве бродили по старым дорогам моей страны. И о великой революции, которая поставила своей задачей уничтожить это бедствие.

Я стал думать о том прошлом мире, в котором я родился и жил. О том мире, который создав нищих, просителей, людей, которые кланяются, клянчат, унижаются.

Вероятно, этот мир устрашил меня. Вселил неуверенность. Создал пугало в образе нищего.

Я вспомнил этот мир. Вспомнил людей, окружающих меня. Вспомнил взаимоотношения.

Нет сомнения, это был несчастный мир. Он нес с собой болезни не менее опасные, чем те, о которых я пишу в этой книге. Он мог вселить тревогу, беспокойство, страх. Нет сомнения, он мог создать пугало в образе нищего.

Итак, я вспомнил этот мир, в котором я родился. Мир богатых и нищих. Мир просителей и подающих. Мир, который меня устрашил.

Какое странное и смешанное чувство я испытал. Какую боль я почувствовал, когда вдруг понял, что этот мир я никогда больше не увижу. И какую радость при этом я испытал.

Но чему же я радовался? О чем сожалел? Что оставил я в том прошлом мире, который оплакивал? И почему я оплакивал то, что меня устрашало?

Я не мог понять. Не мог выразить словами причину этой своей боли, своего сожаления. И тогда я рассказал об этих своих чувствах одной одинокой женщине. Она была моя сверстница. Но она больше знала о прошлом мире.

Она сказала:

— Я испытываю такие же чувства. Но только они не случайны, как у вас. Я не перестаю оплакивать прошлый мир, хотя уже минуло восемь лет с тех пор, как мы его потеряли.

Я сказал:

— Но ведь прошлый мир был ужасный мир. Это был мир богатых и нищих. Он мог устрашать людей. Это был несправедливый мир.

— Пусть несправедливый, — ответила женщина, — но я предпочитаю видеть богатых и нищих вместо тех сцен, пусть и справедливых, но неярких, скучных и будничных, какие мы видим. Новый мир — это грубый мужицкий мир. В нем нет той декоративности, к какой мы привыкли. Нет той красивости, какая радует наш взор, слух, воображение. И вот в чем наша боль и наше сожаление. Что касается справедливости, то я с вами не спорю, хотя и предполагаю, что башмак стопчется на ноге.

Уйдя от этой женщины, я стал думать — так ли это, как она сказала?

Мне захотелось припомнить какие-нибудь изящные сцены из прошлого. Я принялся думать о шелковых тканях, о музыке в гостиных, об утонченных словах, произнесенных при встречах, о лакированных экипажах, проезжающих по улицам.

Я припомнил несколько сцен. Нет, они не были связаны с душевным волнением. Они не вошли в мои воспоминания. Должно быть, они были привычны для моего взора. Должно быть, они были ничем не удивительны, повседневны.

5

Об этих сценах, вероятно, я не вспомнил бы, если б не подумал о том, о чем думаю теперь, стараясь понять, откуда возникла эта боль, эта радость и сожаление.

НА БЕРЕГУ МОРЯ

В студенческом кителе, со стеком в руках, я иду по берегу моря.

Сестрорецкий пляж. Жарко. Лето. Играет симфонический оркестр.

На горячем песке расположились люди. Шикарные женщины в шляпах, с зонтиками в руках. Чахлого вида мужчины в пенсне, в пиджаках.

Мило прогуливаются детишки. Они в шляпах, в чулочках, в башмаках.

Какая-то девчурка хнычет.

— Маменька, — говорит она, — пожалуйста, разреши мне снять чулочки.

— Нет, это неприлично, — говорит мать. — Мы снимем чулки, когда пойдем купаться.

Кругом чинно, скучно. Почти не видно загорелых тел. Почти не слышно криков, возгласов, смеха. Кто-то визжит, входя в воду. Кто-то, занывая, читает стихи. Кому-то на подносе несут пиво.

Боже мой, как нестерпимо скучно!

ДУХ ВЫШЕ, МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК

Похлопывая стеком по узким своим брюкам, и подхожу к моим знакомым. Это — знаменитый адвокат Н. и его жена мадам Н. Н.

Мне нравится жена этого адвоката. Я немного ухаживаю за ней.

Мадам Н. Н. улыбается, когда я подхожу. Стыдливо прикрывает свое тело, наглухо затянутое в шикарный купальный костюм. Помахивает белым веером из страусовых перьев.

Я сажусь рядом.

Мадам Н. Н. кокетничает со мной. Однако разговор не клеится. Рядом муж. Это пресно.

— Серж, — говорит она супругу, — ты бы, право, пошел к воде. Не нужно купаться, но один раз окунуться — это следует, мой друг. Это полезно для твоего здоровья.

Серж безропотно сдирает с себя чесучовый пиджак. Отстегивает шелковые подтяжки. Раздевается.

Я вижу чахлое его тело. Впалую чахоточную грудь. И жалкие руки, лишенные мускулов.

Увидя на себе мой взор, судебный работник бормочет:

— Дух выше, молодой человек. Дух, а не тело — вот в чем наша забота, наша красота.

Осторожно ступая на песок, Серж, как по гвоздям, идет к воде.

Его руки, худые и безжизненные, болтаются, как плети.

МЫ СЛУШАЕМ ПОЭМУ

Изящная гостиная. Шелковая мебель. Кружева. Тюль. Фарфоровые безделушки. Французская речь.

Хозяин — бледный, томный, усталый. Нечто декадентское в его лице.

Плавно жестикулируя, он читает свои стихи. Он читает поэму о какой-то «первоначальной» красоте, к которой должны стремиться люди, об утонченной страдающей душе, блуждающей в грубом мире, в мире низменных страстей. Чтение прерывается каким-то криком в передней.

Хозяин морщится. Страдальчески наморщив лоб, выслушивает горничную, которая что-то тихо ему докладывает.

Неожиданно на пороге гостиной появляется женщина. Она немолода. Плохо одета. Седые ее волосы торчат из-под шляпки.

— Ты что же со мной делаешь, Пьер? — говорит она. И, увидев гостей, продолжает: — Нет, я не погляжу, что у тебя гости. Пусть все знают, какой ты негодяй: твой покойный отец, мой родной брат, велел ежемесячно выдавать мне по сто рублей. А ты что делаешь? Ты что, ирод, издеваешься надо мной?

Наморщившийся, как от зубной боли, хозяин тихо говорит:

— Уйдите, тетя Лизет. Отец не говорил мне этого. Подавайте в суд.

Горничная и хозяин выпроваживают тетку. Неожиданно та падает на пороге.

— Притворяется, — говорит хозяин. И, вытащив из кармана кредитку, швыряет тетке.

Дверь гостиной закрывается. Мы не видим продолжения.

Закрыв глаза рукой, хозяин извиняется перед гостями за невольную сцену. Кто-то из гостей говорит:

— Как совпала ваша поэма с тем, что случилось. Какой грубый мир. И какое счастье, что его можно избежать, отгородиться от него поэзией, душевным одиночеством…

Хозяин продолжает читать прерванную поэму.

НА ЧЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ

На ступеньках лестницы сидят рабочие. Они грязные, оборванные. Некоторые из них в лаптях.

Это рабочие-сезонники. Они достраивают дом во дворе. И вот сегодня, в воскресенье, они пришли к домовладельцу, чтоб получить свой недельный, заработок.

Кто-то из них говорит:

— Нет, они не любят сразу платить. Они поманежат людей, а потом уже платят.

Кто-то из рабочих встает и, подойдя к двери, несмело стучит.

В дверях появляется горничная. Она в белом передничке. На голове ее белая накрахмаленная наколка.

Горничная говорит:

— Ну, что вы стучите, дьяволы… Кажется, сказано вам — барин занят. Приходите вечером.

Сезонник говорит:

— Вечером придешь, скажут, утром приходите. Ведь каждую неделю такая канитель. Сделайте милость, доложите барину, дескать, люди ждут…

Горничная с досадой говорит:

— Барин занят. Не будет сегодня платить. Уходите к лешему.

Дверь захлопывается.

Я сижу на подоконнике с Валей. Валя — дочь этого домовладельца. Нам по пятнадцати лет. У нас нечто вроде флирта. Вот уже час мы сидим на подоконнике и о чем-то болтаем.

Я спрашиваю Валю:

— Валечка, а чем занят ваш папа?

Смущенно потупив глазки, Валя говорит:

— К нему опять пришла Анель. Когда была жива мама — она не смела приходить. Теперь она приходит. Я боюсь, что папа на ней женится. Она с утра у него. Они собираются ехать на бега.

Я смотрю на сезонников, расположившихся на ступеньках лестницы. Некоторые из них курят. Другие пьют и закусывают.

Мы с Валей смотрим в окно. Дождь прошел. Мы выходим во двор.

6

Как забытые видения проходят передо мной эти маленькие сцены из прошлой жизни. Какие неприятные сцены, какие горькие воспоминания! Какая нищенская красота!

Так вот почему я рад, что больше не увижу ушедшего мира, мира роскоши и убожества, мира неслыханной несправедливости, нищеты и незаслуженного богатства! Вот почему я рад, что не увижу больше узкогрудых чахоточных людей, в сердце которых уживались высокие изящные чувства и варварские намерения.

Значит, нет никаких мотивов для сожалений. А оно было — это сожаление, и осталась эта боль. И я снова не мог понять, откуда эта боль возникает.

Может быть, она возникает оттого, что я видел печальные сцены прощания с этим ушедшим миром. Я был свидетелем, как уходил этот мир, как с плеч его соскользнула эта непрочная красота, эта декоративность, изящество.

Я вспомнил одного поэта — А. Т-ва.[64]

Он имел несчастье прожить больше, чем ему надлежало. Я помнил его еще до революции в 1912 году. И потом я увидел его через десять лет.

Какую страшную перемену я наблюдал. Какой ужасный пример я увидел.

Вся мишура исчезла, ушла. Все возвышенные слова были позабыты. Все горделивые мысли были растеряны.

Передо мной было животное, более страшное, чем какое-либо иное, ибо оно тащило за собой привычные профессиональные навыки поэта.

Я встретил его на улице. Я помнил его обычную улыбочку, скользившую по его губам, — чуть ироническую, загадочную. Теперь вместо улыбки был какой-то хищный оскал.

Порывшись в своем рваном портфеле, поэт вытащил тоненькую книжечку, только что отпечатанную. Сделав надпись на этой книжечке, поэт с церемонным поклоном подарил ее мне.

Боже мой, что было в этой книжечке!

Ведь когда-то поэт писал:

Как девы в горький час измены,

Цветы хранили грустный вид.

И, словно слезы, капли пены

Текли с их матовых ланит…[65]

Теперь, через десять лет, та же рука написала:

Пышны юбки, алы губки,

Лихо тренькает рояль.

Проституточки-голубки,

Ничего для вас не жаль…

Все на месте, все за делом,

И торгуют всяк собой:

Проститутка статным телом,

Я — талантом и душой.[66]

В этой книжечке, напечатанной в издании автора (1924 г.), все стихи были необыкновенные. Они прежде всего были талантливы. Но при этом они были так ужасны, что нельзя было не содрогнуться, читая их.

В этой книжечке имелось одно стихотворение под названием «Моление о пище». Вот что было сказано в этом стихотворении:

Пищи сладкой, пищи вкусной

Даруй мне, судьба моя,—

И любой поступок гнусный

Совершу за пищу я.

В сердце чистое нагажу,

Крылья мыслям остригу,

Совершу грабеж и кражу,

Пятки вылижу врагу!

Эти строчки написаны с необыкновенной силой. Это смердяковское вдохновенное стихотворение почти гениально. Вместе с тем история нашей литературы, должно быть, не знает сколько- нибудь равного цинизма, сколько-нибудь равного человеческого падения.

Впрочем, это не было падением, смертью при жизни, распадом, тлением. Поэт по-прежнему оставался здоровым, цветущим, сильным. С необыкновенным рвением он стремился к радостям жизни. Но он не пожелал больше врать. Он перестал притворяться. Перестал лепетать слова — ланиты, девы, перси. Он заменил эти слова иными, более близкими ему по духу. Он сбросил с себя всю мишуру, в которую он рядился до революции. Он стал таким, каким он и был на самом деле, — голым, нищим, омерзительным.

7

Этот поэт Т. действительно стал нищим. Он избрал себе путь, который он заслуживал.

Я увидел его однажды на углу Литейного. Он стоял с непокрытой головой. Низко кланялся всем, кто проходил мимо. Он был красив. Его седеющая голова была почти великолепна. Он был похож на Иисуса Христа. И только внимательный глаз мог увидеть в его облике, в его лице нечто ужасное, отвратительное — харю с застывшей улыбочкой человека, которому больше нечего терять.

Мне почему-то было совестно подойти к нему. Но он сам окликнул меня. Окликнул громко, по фамилии. Смеясь и хихикая, он стал говорить, сколько он зарабатывает в день. О, это гораздо больше, чем заработок литератора. Нет, он не жалеет о переменах. Не все ли равно, как прожить в этом мире, прежде чем околеть.

Я отдал поэту почти все, что было в моих карманах. И за это он хотел поцеловать мою руку.

Я стал стыдить его за те унижения, которые он избрал для себя.

Поэт усмехнулся. Унижения? Что это такое? Унизительно не жрать. Унизительно околеть раньше положенного срока. Все остальное не унизительно. Все остальное идет вровень с той реальной жизнью, которую судьба ему дала в обмен за прошлое.

Через час я снова проходил по этой же улице. К моему удивлению, поэт по-прежнему стоял на углу и, кланяясь, просил милостыню.

Оказывается, он даже не ушел, хотя я дал ему значительные деньги. Я и до сих пор не понимаю — почему он не ушел. Почему он не тотчас бросился в пивную, в ресторан, домой. Нет, он продолжал стоять и кланяться. Должно быть, это его не угнетало. А может быть, даже и доставляло интерес. Или не пришло еще время для его завтрака и поэт для моциона остался на улице?

Я встретил Т. год спустя. Он уже потерял человеческий облик. Он был грязен, пьян, оборван. Космы седых волос торчали из-под шляпы. На его груди висела картонка с надписью: «Подайте бывшему поэту».

Хватая за руки прохожих и грубо бранясь, Т. требовал денег.

Я не знаю его дальнейшей судьбы.

Образ этого поэта, образ нищего — остался в моей памяти как самое ужасное видение из всего того, что я встретил в моей жизни.

Я мог страшиться такой судьбы. Мог страшиться таких чувств. Такой поэзии.

Я мог страшиться образа нищего.

8

И вот, думая об этом несчастном поэте, я невольно стал вспоминать поэзию моего времени.

Я вспомнил чувствительные и грустные романсы, какие пели тогда — «О, это только сон», «Гори, гори, моя звезда», «Хризантемы в саду».

Не скрою от вас — у меня появились слезы на глазах, когда я вдруг припомнил эти позабытые звуки.

Так вот откуда сожаление, подумал я. Значит, я оплакиваю не тот «красивый мир» — богатых и нищих, а оплакиваю ту печальную поэзию, которая была мне сродни. Может быть, она действительно была хороша — эта поэзия?

Я стал вспоминать стихи моего времени.

Это были отличные стихи, отличная поэзия. Поэзия Блока, Есенина, Ахматовой.

Но какая боль в ней чувствовалась. Какие печальные мелодии напевали эти поэты. Почему?

Только лишь потому, что их не удовлетворяла та жизнь, которую они имели? Тот общественный строй, который они на себе испытали? Нет, вряд ли.

Я вдруг вспомнил строчки из В. Брюсова:

Вас, кто меня уничтожит,

Встречаю приветственным гимном.[67]

Почему же он так сказал? Почему он не сказал, что встречает приветственным гимном тех, которые уничтожат несправедливость, вопиющее неравенство, нищету? Нет, мы знаем, что поэт приветствовал революцию. Примкнул к ней, пошел вслед за ней, чтоб увидеть новый мир, новых людей. Но почему все же он нашел такие жестокие слова в отношении самого себя?

Я стал перелистывать стихи Брюсова, его дневники, письма.

Я увидел, что это очень неплохой поэт. Но какой он неровный. Какая меланхолия одолевает его по временам.

Какие истерические нотки слышатся в его музыке, в его мыслях. Какая катастрофа присутствует в его сердце.

Нет сомнения — он не считал себя здоровым, полноценным человеком. И вот почему он так сказал.

Должно быть, он не хотел, чтоб искусство находилось в дрожащих руках неврастеников. Не хотел, чтоб оно воспитывало прежние чувства, прежних людей.

Какие жестокие слова были произнесены. Какой адский выход был найден.

Но, может быть, эта катастрофа, истерика и меланхолия были свойственяы только лишь большим поэтам, в силу их цысокой миссии, высокий чувствительности, высокого сознания?

Может быть, все остальные поэты бодрыми голосами напевали торжественные гимны природе?

Я стал перелистывать стихи моего времени.

Нет. Все то же самое. Только хуже. Бедней. Ужасней.

Блок как в фокусе соединил в себе все чувства своего времени. Но он был гений. Он облагородил своим гением все, о чем он думал, писал.

Строчки малых поэтов, лишенные этого благородства и вкуса, были ужасны:

У феи — глазки изумрудные,

Все на траву она глядит.

У ней — наряды дивно-чудные —

Опал, топаз и хризолит…[68]

Какой цветистый нищенский язык. Какая опереточная фантазия у неплохого, в сущности, поэта!

У царицы моей есть высокий дворец,

О семи он столбах золотых,

У царицы моей семигранный венец,

В нем без счету камней дорогих.[69]

Нет, неприятно читать эти стихи. Нестерпимо слышать эту убогую инфантильную музыку. Отвратительно видеть эту мишуру, эти жалкие манерные символы.

Я перелистываю поэтические сборники моего времени.

С холодным сердцем, без капли волнения я читаю то, что мы читали и, должно быть, любили:

Я себе не верю, верю только

В высоте сияющим звездам.

Эти звезды мне стезею млечной

Насылают верные мечты

И растят в пустыне бесконечной

Для меня нездешние цветы.[70]

Нет. Мне не жаль этой утраченной иллюзии. Не жаль потерянных «нездешних цветов».

Мне не жаль и потерянной бодрости, которую я встречаю в иных стихотворениях:

Я верю в светлое начало,

Я знаю правду темноты.

Во мраке Ночь меня качала,

Чтоб Дню я показал цветы.[71]

Бог с ней, с этой бодрой поэзией. Она отвратительна:

Крошки-ручки изломаю

В нежных пламенных пожатьях,

Зацелую, заласкаю,

Задушу тебя в объятьях.[72]

Я перелистываю роскошные журналы моего времени. Вот Бальмонт поэтически пишет о подруге Эдгара По:

«Чаровательница и рабыня своих женских страхов, женщина, полюбившая ангела, демона, духа, кого-то, кто больше, чем человек, и потому испугавшаяся — нежная Сибилла, заманившая и себя и другую душу в колдования любви…»[73]

И еще:

«Вестник Запредельного, глашатай глубин и носитель тайн, бессмертный Эдгар, взявший в своем мировом служении великую тяжесть необходимости явить, как может быть одинока душа Человека среди людей…»

Слезы давно уже высохли на моих глазах. Нет, я ни о чем больше не жалею. Я не жалею о том мире, который я потерял.

9

«Однако куда же я забрел? — подумал я. — В какие же психологические дебри завел меня нищий, за которым я покорно пошел с надеждой найти причину моего страха перед ним?»

Не знаю, какие новые шаги мне предстояли и какие ждали меня разочарования, если б я этим путем пошел дальше.

Но я спохватился. Я понял, что я неверно рассуждаю, неверно иду.

Ведь мне надо было найти причину моего младенческого страха перед нищим, а не причину боязни взрослого человека.

Разве младенцу понятны мои тревоги, волнения, чувства, стихи и прошлый мир, с которым я прощался?

Разве младенцу понятен образ нищего?

Нет, образ нищего не есть образ, понятный младенцу.

В таком случае как же он возник? Отчего он появился в моих снах?

Я вспомнил принцип сновидений. Вспомнил — что такое сон с точки зрения современной науки.

Я повторю, хотя бы вкратце. Это имеет первостепенное значение.

Два этажа имеет наш мозг. Высший этаж — кора мозга и подкорковые центры — здесь источники приобретенных навыков, центры условных рефлексов, центры нашей логики, речи. Здесь — наше сознание. Нижний этаж — источник наследственных рефлексов, источник животных навыков, животных инстинктов.

Два эти этажа, как мы говорили, нередко находятся в конфликте. Высшие силы борются с низшими, побеждают их, оттесняют еще ниже или изгоняют вовсе.

Ночью высший этаж погружается в сон. Сознание гаснет, перестает контролировать. А так как заторможение спускается не ниже подкорковых центров, то низшие силы оживают и, пользуясь отсутствием контроля, выявляются в сновидениях. Оживают страхи — заторможенные или оттесненные сознанием.

Вот какова общая картина сна. И вот каков механизм, лежащий в основе наших сновидений.

Казалось бы, весьма просто, с помощью сновидения, обнаружить причину патологического торможения, увидеть то или иное заглушенное чувство, понять образ, возникший в снах.

Да, это было бы весьма просто, если б высший и низший этажи «разговаривали» бы на одном языке. Однако «обитатели» этих этажей не имеют одинаковой речи. Высший этаж мыслит словами. Низший этаж мыслит образами.

Можно допустить, что такое образное мышление свойственно животному и в одинаковой мере младенцу.

В силу такого образного мышления сновидения нередко приобретают символический характер. Это понятно — простейшие образы, соединенные вместе, могут создать символ. И сложность этих символов не одинакова. Эта сложность меняется в зависимости от развития человека.

Мы видели, как вместе с умственным развитием меняются и усложняются условные нервные связи. В одинаковой мере и сновидения меняют свой смысл, меняют свое значение в зависимости от роста сознания, в зависимости от характера человека, от его индивидуалытости.

Поэтому, чтоб понять образ низшего этажа, нужно разговаривать на языке младенца, нужно видеть его глазами. И при этом нужно расшифровывать символику, которая возникает в силу образного мышления младенца, учитывая, конечно, рост и развитие человека.

Значит, образ нищего — символический образ. Этот образ мог возникнуть только лишь в силу дальнейшего умственного развития ребенка. И нет сомнения, что в основе этого образа были заложены иные, более примитивные образы, понятные младенцу.

Значит, образ нищего следует расчленить на простейшие составные элементы.

Какие же элементы могли создать образ нищего как объект устрашения? Можно допустить, что символ возник по признакам поступков нищего.

Что делает нищий? Он стоит с протянутой рукой. Он просит. Его протянутая рука что-то берет.

Вот это уже нечто доступное пониманию младенца. Рука, которая берет, могла устрашить младенца. Из этих элементов мог в дальнейшем позникнуть символический образ нищего.

10

Со всей отчетливостью я вдруг понял, что я боюсь не нищего, а его руки. Я боюсь не нищего, который что-то у меня возьмет, я боюсь руки, которая что-то у меня отнимет.

Я тотчас понял, что эта рука и есть то, что я ищу. Я понял, что эта устрашающая меня рука — второй условный раздражитель в сложной комбинации моего младенческого психоневроза.

Ведь именно эта рука пыталась схватить меня, когда я во сне бежал по синему полю, спасаясь от черной воды. Именно эта рука хотела что-то взять, отнять, украсть.

В этой руке нищего, вора и, может быть, убийцы имелись те простейшие элементы, из каких в дальнейшем был создан столь ужасный для меня символический образ нищего.

Значит — вода и рука.

Какой прочной условной связью могли соединяться два эти найденные раздражителя. Какая роковая повторяемость могла произойти в жизни младенца.

Однако что же именно обозначала эта рука? И что она хотела взять у меня?

Что берет нищий, вернее, его рука? Она берет то, что подают — деньги, хлеб, еду — милостыню.

Нет сомнения, ребенок мог пожалеть, что рука нищего берет то, что принадлежит ему, ребенку. Но почему же это сожаление сопровождалось страхом? Это было непонятно. Тогда я стал вспоминать детали одного сна, в котором фигурировал нищий. Я сижу за каким-то большим столом. Раздается звонок. Потом стук. Я подбегаю к двери не с тем, чтобы открыть ее, а с тем, чтоб проверить — хорошо ли она закрыта. Нищий стоит за дверью. Он тянет ее к себе. Напрягая силы, я не позволяю нищему открыть дверь. Происходит борьба. Сердце мое колотится от страха и от физических усилий.

Ужас охватывает меня, когда дверь приоткрывается. Однако я делаю усилие и закрываю дверь. Закрываю на ключ, на цепочку. С облегчением возвращаюсь к столу.

Разве это был нищий за дверью? Может быть, это был вор? Нет, вор не стал бы стучать и звонить. Это был именно нищий, который хотел что-то у меня отнять.

Что же хотел он отнять?

Я снова не мог понять. Но зато я понял, что этот страх я испытывал не только во сне. Я испытывал его и днем. Ведь это я, мальчик, а потом юноша и, наконец, взрослый, кричал: «Закрывайте двери!» И каждый вечер тщательно проверял крючки и запоры на дверях, на окнах. Я не мог заснуть, если дверь была открыта. Если на дверях не было крючка или задвижки, я ставил стул и на стул укладывал чемодан или какие-нибудь вещи с надеждой, что они упадут и разбудят меня, если кто-то попытается войти в мою комнату.

Стало быть, этот сон реально обоснован. Стало быть, страх присутствовал не только в сновидениях.

К чему же относится этот страх? Что хотел отнять у меня нищий? Ведь я никогда ничего не жалел. Напротив, я даже радовался, если у меня пропадала какая-нибудь вещь. Мне казалось, легче и проще жить без вещей.

Что же в таком случае устрашало меня? Какая потеря казалась мне невозвратимой? Что защищав я с таким страхом и трепетом?

И что, наконец, хотела взять эта страшная рука, которая погружала младенца в воду, наказывала и заставляла в страхе биться маленькое несчастное сердце?

VIII. ТИГРЫ ИДУТ

Над ранами смеется только тот,

Кто не бывал еще ни разу ранен.[74]

1

Когда я захотел узнать, что обозначает рука и что она намерена взять у меня, — я стал испытывать необыкновенный страх.

Такой силы страх я раньше не испытывал даже ночью. Теперь он возникал и днем, главным образом на улице, в трамвае, при встрече с людьми.

Я понимал, что этот страх возникает оттого, что дотрагиваюсь до самых глубоких ран, тем не менее этот страх всякий раз потрясал меня. Я стал спасаться от него бегством.

Это было нелепо, невероятно, даже комично, но страх исчезал, когда я добирался до своего дома, до своей лестницы.

Уже в подъезде он оставлял меня.

Я пробовал бороться с ним. Хотел подавить его, уничтожить — волей, иронией. Но он не подчинялся мне. Он возникал еще в большей степени.

Тогда я стал избегать улицы, людей. Почти перестал выходить из дому.

Однако страх вскоре проник и в мою комнату. Я стал страшиться ночи, темноты, еды. Перестал спать на кровати. Спал на полу, на тюфяке. Почти перестал есть. Насильно проглоченный кусок хлеба вызывал тошноту, рвоту.

Казалось, все было кончено. Казалось, приближается развязка — бессмысленная, дикая, постыдная.

Уже ничто не интересовало меня. Игра, казалось, была проиграна. Борьба закончилась поражением. Я находился в полном подчинении у страха. Уже мрак стал окутывать мою голову. Наступала гибель более страшная, чем я предполагал.[75]

Пришли дни, когда я не мог ни лежать, ни сидеть. Необыкновенно слабый, я мотался из угла в угол, задыхаясь от ужасных сердечных припадков и от невыносимых спазм во всем теле.

На моем письменном столе лежал листочек. Там были записаны сны, которые тревожили меня. По временам я обращался к этим снам, имея слабую надежду разобраться в них. Но они были непонятны.

Я искал руку, ее значение, ее связь с тем, что меня так устрашало. Но сны ничего не говорили о руке. Они говорили о тиграх, которые входят в мою комнату.

Я и раньше видел подобные сны. Но теперь они были необыкновенно реальны.

В комнату входили тигры и, помахивая хвостами, следили за каждым моим движением.

Я чувствовал горячее дыхание этих тигров, видел их сияющие пламенные глаза и страшные багровые пасти.

Тигры не всегда входили в комнату. Иной раз они останавливались за дверью. И тогда раздавался их ужасающий громовый рев. Этот рев сотрясал комнату. Звенела посуда, падала мебель, колыхались занавески и картины на стенах.

Нет, эти тигры не терзали меня. Постояв в комнате или за дверью, они уходили, четко постукивая когтями о пол.

В один из худших для меня дней в моем помраченном уме мелькнула догадка.

Что, если, подумал я, тигр есть символ? Такой же символ, как образ нищего?

Ведь принцип сновидений одинаков. Образное мышление низшего этажа психики и дальнейшее развитие ребенка непременно создают символику.

В образе нищего я увидел простейшие элементы. Я увидел руку и действие этой руки — она берет, отнимает. Должно быть, и в образе тигра следует увидеть нечто более примитивное, доступное пониманию малыша.

Тигр — хищный зверь. Он что делает? Бросается на свою жертву, хватает ее, уносит, терзает. Он пожирает ее. Зубами и когтями рвет ее мясо.

Неожиданно возникли ассоциации с рукой. С этой страшной жадной рукой, которая тоже что-то берет, отнимает, хватает.

Нет сомнения — эти образы были одного и того же порядка.

Рука нищего, вора приобретала новые качества, свойственные дикому зверю — тигру, хищнику, убийце.

2

Я вспомнил давний сон. Быть может, даже это не был сон. Быть может, память сохранила то, что когда-то произошло наяву. Но это осталось в памяти как сновидение.

Сквозь далекий туман забвения я вспомнил темную комнату. Образ в углу. Лампадку.

Из темной стены тянется ко мне огромная рука. Эта рука уже надо мной. Я кричу. В ужасе просыпаюсь. Хочу вскочить с кровати. Но не могу. Кровать затянута сеткой.

Если это сон, то, нет сомнения, он относится к давнему времени. Маленькая кровать, затянутая сеткой, определяет младенческий возраст. В самом деле — этот сон слишком примитивен, прост. Взрослый ребенок не мог увидеть такой сон. Должно быть, этот сон был когда-то увиден младенцем.

Ребенок увидел руку во сне. Эта рука, судя по растопыренным пальцам, собиралась взять, схватить ребенка. Вряд ли сон повторял дневное происшествие. Дневной страх был, видимо, в меньшей степени. Иначе не возник бы сон.

Что же в таком случае произошло днем?

Видимо, днем рука что-то взяла, схватила, отняла у младенца.

Что же она могла взять, схватить такое, что так устрашило? Вероятно, весьма дорогое, ценное, почти равносильное по ценности самому младенцу.

Что же может быть столь ценным в жизни младенца? Игрушка? Соска? Грудь матери? Питание?

Должно быть, питание. Скорей всего — грудь матери, та грудь, которая кормит младенца, дает ему жизнь, питание, радость.

Должно быть, эта грудь была отнята рукой.

Если рука отняла грудь, лишила питания, то с точки зрения младенческой логики — эта страшная рука могла совершить новое, еще более тяжкое преступление. Об этом преступлении и говорит сон. Рука нищего, вора явилась ночью в новом ее значении — она пришла за самим младенцем. Она хотела взять его, схватить, унести.

Как же, однако, возник дневной страх, столь усиленный и усложненный ночью? Что именно случилось днем?

Впрочем, днем, может быть, ничего особенного и не произошло. Может быть, было только лишь то обычное, повседневное, что бывает в жизни каждого младенца, — рука матери отнимает грудь.

Быть может, маленький жадный малыш, устрашенный этим частым повторением, не без волнения следил за рукой, отнимающей питание, грудь, жизнь. Быть может, рука отца, однажды положенная на грудь матери, еще более устрашила ребенка.

Но ведь в жизни каждого ребенка повторяется то же самое — рука отнимает грудь, наказывает, купает. Почему же у других это происходит бесследно, не травмирует их, не оставляет ран? Ну что ж — мы разбираем исключительный случай.

Мы говорим о психоневрозе. Мы видим перед собой крайне чувствительную психику младенца — будущего художника, творца, фантазера. Мы видим пример, когда столь чувствительная психика способствует возникновению болезней.

Мы говорим в данном случае не о норме, а о патологии.

3

Итак, рука отнимала грудь, питание. Рука являлась за ребенком, чтобы взять, схватить, унести его.

Но почему же эта рука ассоциировалась с тигром? Значит, что-то произошло еще?

И вот, анализируя этот символический образ тигра, я увидел сон, который подтвердил точность и правильность этого символа.

Я увидел длинный коридор. Очень светлый. Со множеством окон. Что есть духу я бегу по этому коридору. Кто-то гонится за мной. Слегка обернувшись, я вижу человека, в руке которого нож. Длинный, блестящий, сверкающий нож. Этот нож занесен надо мной.

Рванувшись вперед, я выбегаю из коридора. Двор. Камни. Я падаю на камни. Надо мной синее небо, солнце. Тишина…

Я тотчас понял этот сон. Окна коридора мне дали точный ориентир. Это были огромные светлые окна больницы, видимо операционной.

Нет сомнения, рука с ножом — рука врача, хирурга.

Неожиданно я вспомнил давний рассказ моей матери. Мать рассказывала об операции, которая была сделана, когда мне было два года. Эта операция была сделана без хлороформа, спешно, неожиданно, начиналось заражение крови.

Я смутно помню этот рассказ. Я запомнил главным образом то, что мать говорила о своем переживании. Она слышала мой ужасный крик. И потеряла сознание.

Вот все, что я запомнил из рассказа матери.

Я стал осматривать свое тело, надеясь найти какой-нибудь шрам, разрез, оставшийся от ножа хирурга.

Я нашел этот шрам. Он был величиной почти в три сантиметра. Должно быть, это был весьма глубокий разрез, если шрам остался на всю жизнь.

Бедный малыш. Можно представить его ужас, когда страшная рука, принесшая ему столь много бед и волнений, вооружилась ножом и стала резать маленькое жалкое тельце. Нет сомнения, эта рука, вернее, обладатель этой руки в своих качествах мог приравниваться к тигру. Это была рука хищника, лапа кровожадного зверя.

Бедный малыш даже не представлял себе, что режут, зачем. Он лежал с задранными кверху ножонками, чувствовал адскую боль и видел руку с ножом — знакомую руку нищего, вора, хищника, убийцы.

Какое поразительное роковое совпадение!

Какое утверждение травмы! Какая психическая кастрация. Какой в дальнейшем бурный ответ мог происходить при столкновении с условным раздражителем.

Но только ли такой бурный ответ мог возникнуть при столкновении со вторым условным раздражителем — рукой? Нет. В равной мере такой ответ мог возникнуть при столкновении с третьим условным раздражителем. Этим третьим раздражителем являлась грудь. Грудь матери. Грудь, которая соединялась условной нервной связью с рукой.

Я снова вспомнил принцип условных рефлексий. Один раздражитель, условно связанный с другим (даже и при отсутствии второго), создавал два очага возбуждения, равных по силе, ибо между двумя очагами имелась условная нервная связь.

Стало быть, увиденная грудь создавала у младенца второй очаг возбуждения, тот очаг, который возникал при виде руки — руки вора, нищего, хищника, убийцы.

Какая страшная картина открывалась передо мной. Какая жалкая жизнь предназначалась ребенку, юноше, мужчине. Какой характер и какое поведение было предопределено.

4

Я стал вспоминать рассказы моей матери. Она не раз говорила мне о моем детстве, младенчестве. Она всякий раз улыбалась, рассказывая о том, какой я был трудный, сложный и капризный ребенок.

Еще бы! Адский конфликт присутствовал чуть не с первых дней моей жизни. Я должен был отказаться от груди, бросить питание, чтоб не испытывать этот постоянный страх, постоянное волнение. Но я не мог этого сделать. Я не мог отказаться от груди. Мать, улыбаясь, говорила, что она бросила меня кормить грудью, когда мне было два года и два месяца.

— Это было уже неприлично, — улыбаясь, говорила мать. — Ты уже ходил, бегал, лепетал наизусть стишки. Тем не менее ни за что не хотел бросить грудь.

Мать смазывала сосок хиной, чтоб я получил, наконец, отвращение к этому способу еды. Содрогаясь от отвращения и от ужаса, что грудь таит в себе новые беды, я продолжал кормиться.

Это было понятно. Это была борьба. Она разгоралась тем сильнее, чем больше было возможности потерять то, что я защищал.

Моя бедная мать, улыбаясь, рассказывала мне о моем детстве. Но она всякий раз переставала смеяться, когда речь заходила о моих некоторых странностях.

Я не мог заснуть, если лежал в постели с матерью. Я засыпал тогда, когда был в постели один. Причем засыпал только в полной темноте. Даже свет лампадки меня раздражал. Мою кроватку завешивали одеялами.

Припоминая эти странности, мать говорила, что все это, вероятно, возникло из-за нее. Когда она меня кормила грудью, она однажды испытала необыкновенный страх, необыкновенное волнение, тревогу.

Быть может, эти чувства (говорила мать) «я всосал с ее молоком».

Летом были ужасные грозы. Эти грозы (говорила она) были почти каждый день. И вот однажды разразилась сильнейшая гроза. Молния ударила во двор нашей дачи. Была убита корова. Загорелся сарай.

Ужасный гром потряс всю нашу дачу. Это совпало с тем моментом, когда мать начала кормить меня грудью. Удар грома был так силен и неожидан, что мать, потеряв на минуту сознание, выпустила меня из рук. Я упал на постель. Но упал неловко. Повредил руку. Мать тотчас пришла в себя. Но всю ночь она не могла меня успокоить.

Можно представить новое переживание несчастного малыша. Удар грома произошел, быть может, в тот момент, когда ребенок взял сосок к свои губы. Вероятно, не без опаски ребенок прикоснулся к груди — ведь она таит в себе такие опасности: может прийти рука, может взять, унести, наказать… И вдруг адский удар грома, падение, бесчувственное тело матери. Какое новое доказательство опасности груди!

Что такое гром, гроза — это было непонятно младенцу. Ведь он впервые знакомился с миром, впервые сталкивался с вещами. Этот гром мог произойти оттого, что губы прикоснулись к груди. Кто докажет ему противное?

Мать говорила, что все лето продолжались грозы. Стало быть, удары грома могли несколько раз совпадать с моментом кормления младенца. Стало быть, условный рефлекс мог без труда утвердиться в чувствительной психике младенца, в той психике, которая уже была подготовлена к новым бедам от руки и груди.

5

Я слышал по ночам рев тигра. Этот рев напоминал отдаленные раскаты грома. Быть может, эти громовые раскаты являлись отзвуком грозы, грома, удара. Быть может, они фантастическим образом соединились с грудью матери и придали этому объекту новые необыкновенные свойства.

Пусть не улыбается читатель на эти мысли. Ведь речь идет о младенце. Речь идет о начале его жизни, когда еще отсутствует свет разума, когда нет логики, нет сознания. Речь идет о маленьком животном, которое знакомится с окружающим миром, с этим страшным миром, где на каждом шагу нужно защищаться от опасностей.

Символический образ тигра как бы соединил в себе эти опасности.

Рев тигра или льва, когда-нибудь услышанный ребенком в зоологическом саду, довершил этот символический образ.

Я открыл свои записные книжки с расчетом найти в них соответствующие записи, с надеждой увидеть следы нового поединка — борьбы с хищниками путем знаний, кои были в соответствии с моим умственным развитием.

Однако в записных книжках никаких сведений о тиграх я не обнаружил.

Ну что ж! Я в жизни не сталкивался с тиграми. Я видел их только в клетках. Я был в безопасности от них. И тут не было резона защищаться путем знаний.

Но вот, разыскивая в своих записных книжках сведения о тиграх, я натолкнулся на целую серию однообразных записей.

Эти записи крайне удивили меня. Они были медицинского характера и касались главным образом паралича, удара, кровоизлияния в мозг.

В моих записных книжках было много медицинских справок, но справки об ударах повторялись необыкновенно часто. Тут были объяснения причин, перечисления симптомов, способы лечения и профилактики.

Было похоже на то, что я опасался удара. Но я не полнокровен. Скорее сухощав. И молод. Казалось бы, мне нечего было страшиться столь печального конца.

И вот, задумавшись о причинас моей осторожности, я неожиданно ассоциировал эту болезнь — удар, паралич, кровоизлияние — с ударом молнии, грома, с тем ударом, которым я был когда-то устрашен.

Неужели же это тот забытый удар грома? Неужели вместе с моим развитие он претерпел такие изменения и выродился в новое пугало?

Но ведь удар грома был связан с грудью моей матери.

Неожиданно я вспомнил свою книгу «Возвращенная молодость». Я писал ее еще слепой рукой. Я тогда еще не понимал многого. Мои поиски тогда были направлены главным образом на сознание. Я слишком мало уделял внимания тому, что было за порогом сознания.

Что же водило мою руку в той книге? Несомненно, страх.

Эта книга была оборонительной. Я защищался от опасностей. Я приводил доказательства опасностей и указывал, как бороться с ними.

Стареющий профессор в этой повести женится на молодой девушке. Именно по этой причине профессора разбивает паралич. С ним происходит удар, кровоизлияние в мозг.

Стало быть, эта мысль — удар — неотступно следовала за мной. И я доказывал ее состоятельность. Стало быть, нервные связи по-прежнему условно соединяли два объекта устрашения.

Я не стал пока распутывать всю цепь мыслей вокруг этих «больных» предметов. Но мне стало совершенно очевидно, что четвертый условный раздражитель в сложной комбинации моего психоневроза несомненно был — удар, гром, выстрел.

6

Итак, несчастное происшествие найдено. Маленькое, бездумное существо, знакомясь с окружающим миром, ошиблось, восприняв опасными те вещи, кои не были опасны.

Вода и рука стали предметом устрашения. Грудь и в равной мере еда стали доставлять ребенку волнение, страх, иногда ужас.

Конфликт возник на пороге младенческой жизни.

Поразительное стечение обстоятельств увеличило этот конфликт, подтвердило правильность страхов. Чувствительная психика младенца доказала их условную состоятельность.

Тигр стал символом опасности.

Между силой раздражения и ответом возникла, казалось, непонятная пропасть. Тем более непонятная, ибо в самом ответе лежало противоречие — отказ и одновременное стремление, страх и любовь, бегство и защита.

Четыре весьма условных раздражителя стали сопровождать ребенка по шатким путям его жизни.

Они действовали на младенца с огромной, подавляющей силой, ибо нередко они действовали сообща, почти одновременно, тесно увязанные, между собой условными временными связями.

Временные связи! Да, они были бы временными, если б они возникли в примитивной психике собаки. Вероятно, они были бы разорваны и погасли, если б ум оставался неизменным. Но ум изменялся, росло сознание, и вместе с этим изменялись и перестраивались доказательства опасности. Взаимодействие было тесным — доказательства были также весьма условные.

Однако, казалось бы, что эта рука могла быть пугалом только лишь в детском возрасте. Нет! Образное мышление возвысило эту руку до символа. Рука стала карающей рукой, воображаемой, символической. Этот символ был вровень умственному развитию человека.

За что же стала карать эта рука?

Она стала карать именно за то, за что карала она в младенческой жизни — за еду, грудь.

Условные доказательства — подлинные, логичные и вместе с тем условные — всюду следовали за едой!

Когда-то мать смазала сосок хиной, чтоб ребенок не стремился к груди. Еда показалась отравой, ядом. Это подтвердилось. Еда нередко несла отраву, боль, болезни.

Когда-то гром, удар, совпал с кормлением. И это имело подтверждение. Еда создает полнокровие — способствует удару, кровоизлиянию в мозг.

Значит, надо избегать еды. Но избегать ее нельзя. Тогда смерть.

В таком случае как же надо поступать? Надо есть и страдать за еду. Должно быть, это норма.

Я вспомнмл, как я ел. Почти всегда стоя, крайне торопливо (могут отнять), небрежно, без интереса. Я ожидал за еду расплаты, и она являлась, эта расплата, — болезни, спазмы, тошнота.

Я глотал порошки, чтоб нейтрализовать эту опасность от еды. Мне казалось, наука, медицина избавят меня от этой опасности.

В огромном количестве я поглощал лекарства, отравляя себя этим еще больше.

Однако финал был печальный, гибельный. Я перестал есть. Должно быть, обилие условных доказательств уверило меня в смертельной опасности еды.

Этот отказ от еды дважды возникал в моей жизни. И я не понимал, откуда он происходит. И только теперь картина становилась ясной, отчетливой, страшной. Условные нервные связи действовали с нарастающей силой.

7

Карающая рука наказывала за еду. Но грудь матери была едой только лишь в младенческом возрасте. В дальнейшем грудь матери стала олицетворять женщину, любовь, сексуальность.

Значит, и за образом женщины мне рисовалась карающая рука? Значит, в одинаковой мере я должен был страшиться женщины, избегать ее, ждать расплаты, наказания?

С трепетом я перелистал свои воспоминания. С трепетом вспомнил мою юношескую жизнь. Мои первые шаги. Мои первые любовные встречи. Да, нет сомнения — я избегал женщины. Я избегал и одновременно стремился к ней. Я стремился к ней, чтоб бежать от нее, устрашенный ожидаемой расплатой.

Сцены из младенческой жизни разыгрывались в мои взрослые годы.

Но ведь я не всегда избегал? Да, не всегда.

Не каждая женщина страшила меня. Меня страшило то, что страшило младенца.

Но чего именно я страшился, будучи взрослым? Какой расплаты я ждал? Какие огорчения сулила мне женщина?

Я вспомнил сцену убийства, виденную мной в детстве («Выстрел»). Муж застрелил любовника своей жены. Карающая рука, вооруженная громом, ударом, выстрелом, расплатилась за женщину, которая почти нагая прибежала к нам на веранду.

Разве это не доказательство опасности женщины? Разве не следует за ней по пятам — выстрел, удар, нож? Женщина — это любовь. Любовь — это опасность.

Я вспомнил девушку, которая бросилась в воду из-за любви. Я вспомнил дядю Георгия, который заболел чахоткой из-за того, что он (мама сказала) любил много женщин.

Я вспомнил книги, в которых описывались убийства из-за любви, ужасные казни, отравления, поединки.

Условные доказательства смертельной опасности всюду следовали за любовью, за женщиной.

Карающая рука — мужа, брата, отца — сопровождала этот образ.

Выстрел, удар, чахотка, болезни, трагедии — вот расплата за любовь, за женщину, за то, что не позволено.

Нечто подлинное присутствовало в этих доказательствах. Логика не была поколеблена. Условность казалась истиной. Тем не менее восприятие было болезненным, условным. Сила ощущения и сила ответа не соответствовали раздражению. Необычайная картина стала раскрываться перед моим взором.

В одно мгновение я вдруг понял все, что не понимал. В одно мгновение увидел себя таким, как я был, — темным, маленьким дикарем, устрашенным каждой тенью. Затаив дыхание, озираясь, прислушиваясь к рычанию тигров, я шел и бежал сквозь заросли леса. И что могло быть у меня в сердце, кроме тоски и усталости!

Нет, меня не взволновало то, что я вдруг увидел, понял. Меня это ужаснуло, потрясло, ввергло в отчаяние.

Я вспомнил чьи-то слова:

«О, мои горькие опыты! И зачем я захотел все знать. Вот теперь я не умру так спокойно, как надеялся».[76]

Но это была минутная слабость, минутное отчаяние. Оно возникло от стыда, что я раньше ничего не знал, что я раньше не догадывался, какая чушь, какой вздор сжимает меня в своих объятиях.

С холодным рассудком я продолжал додумывать тягостные последствия моего несчастного происшествия.

8

Я вспомнил историю о том, как впервые у меня возник сердечный припадок («Финал»). Что произошло тогда? Была вечеринка, банкет. Сестра милосердия Клава повела меня в свою комнату. Мы там целовались. Потом я уехал в деревню, в полк. Лег в постель под утро, часов, вероятно, в пять. А в шесть часов первые бомбы упали на деревню.

Я с точностью помню. Я засыпал с воспоминаниями об этой женщине. И едва я заснул, как страшный взрыв бомбы потряс дом.

Мой мозг, быть может в то утро ослабленный алкоголем, воспринял этот удар как должное. Ожили давние инфантильные представления. Надо было избегнуть дальнейших «ударов», дальнейших встреч с этой женщиной.

Я почувствовал себя плохо. Я стал задыхаться. Ответ организма был невротическим, бурным. И вместе с тем целесообразным — я покинул «опасные» места, разорвал опасную связь.

Нет, долг и совесть не были забыты. Я уехал, чтоб вылечить сердце, чтоб снова вернуться в строй. Я уехал именно с этим твердым намерением.

Я вспомнил историю о том, как я заболел в последний раз («В Туапсе»).

Что случилось тогда? Я сидел в шезлонге на палубе теплохода. Я прекрасно себя чувствовал. Я с радостью думал о том, что встречу в Москве друзей и женщину, которая любила меня и которая мне нравилась.

Я с точностью вспомнил, как не без огорчения я подумал об ее муже. Я симпатизировал ему. И мне было совестно его обманывать. Он очень любил меня. Он был очень добр ко мне. Казалось, он даже снисходительно относился к моему «роману» с его женой. Что же в этом случае устрашило меня? Маленький револьвер, который был на его поясе? Ни разу такая мысль не мелькала в моей голове. Но, может быть, она возникла в темных подвалах моей психики?

Я сидел в шезлонге и любовался морем. Я пристально смотрел на поверхность воды. Быть может, за порогом сознания возникли давние ассоциации, давние связи с водой, рукой, женщиной.

В жалкой гостинице Туапсе я валялся на полу. Я с точностью помню, как я встал с постели и перешел на пол. Я перешел в тот момент, когда раздался удар грома и началась гроза. Быть может, я хотел избежать кровати, на которой когда-то разыгралась младенческая драма? Иначе ничем не объяснить этот дикий нелепый переход. Не разрывая связей, я уходил от этих связей, бежал от них.

9

Значит, младенческие сцены разыгрывались с той огромной силой, какая может поражать. Но ведь я же был в полном сознании? Да, я был в полном сознании. Но мое сознание не знало, откуда возникают беды. Оно не корректировало поступков, ибо не понимало их. Я был в полном подчинении у своих страхов, о присутствии которых я не имел понятия. Мое сознание не видело этих страхов. Оно лишь видело искаженные симптомы этих страхов. Они казались болезнью, симптомами тех болезней, которые я терпел.

Этот болезненный ответ возник тогда с такой бурной силой, ибо все четыре раздражителя предстали передо мной почти одновременно.

В этом ответе лежала целесообразность. Я хотел из Туапсе выехать в Москву, но мое тяжелое состояние и в особенности сердечные припадки преградили путь.[77] Я отказался от поездки в Москву. Я вернулся домой.

И вот, когда все было распутано, когда страхи стали постепенно покидать меня, я проследил однажды за течением сердечного припадка, не подавляя его, не прибегая к лекарствам, я позволил ему возникнуть и действовать в той степени, какая раньше всегда страшила меня. Но теперь я контролировал и возникновение, и весь процесс и с удивлением обнаружил, что привычные симптомы со стороны сердца происходят от спазм желудка и кишечника. Эти спазмы не достигали значительной силы, но они давили на диафрагму, и явления со стороны сердца были результатом этого давления. Стало быть, снова за этим припадком лежал страх. И болезненные симптомы были простейшими симптомами страха. Развенчав этот страх, я убрал тяжелый хронический невроз сердца с той легкостью, как если бы его и вовсе не было.

Это было бегство — самый простой вульгарный оборонный рефлекс.

Это было бегство и притворство.

Но я, повторяю, не всякий раз бежал и не всякий раз притворялся больным. Я бежал и притворялся только тогда, когда в той или иной степени сталкивался с «больными» предметами.

Я вспомнил один удивительный случай. Даже теперь, пятнадцать лет спустя, краска заливает мое лицо.

Я шел под руку с одной женщиной. В Петергофе. Мы вышли к морю. Неожиданно я почувствовал себя плохо. Казалось, сердце останавливается. Я стал задыхаться.

Моя спутница была напугана силой моего припадка. Она хотела мне помочь. Но я просил ее уйти, оставить меня одного, говоря, что мне обычно легче, когда я остаюсь один. Не без обиды она ушла и спустя два дня с необычайной жестокостью сказала мне, что я нарочно разыграл сердечный припадок, чтоб расстаться с ней, чтоб бросить ее.

Я был возмущен, поражен ее низостью. Я поссорился с ней.

И вот только теперь я понял, что она была права.

Нет сомнения, я «разыграл» этот припадок, притворился больным. Но я понятия не имел, что это так.

Я вспоминаю Надю В., о которой так много писал в своих воспоминаниях.

Значит, я бежал и от нее? Этого не может быть. Я ее любил. Это вздор.

Нет, это не было вздором. Я действительно бежал от нее.

Но почему? Только лишь потому, что она была женственна и этим напоминала мне мою мать? Но ведь она вовсе не была похожа на мою мать. В ее облике не было никакого сходства. Ну что же! Я и не страшился образа моей матери. Я страшился лишь того, что было связано с рукой и громом.

10

Нет, я не в силах больше описывать мою жизнь. И не только потому, что мне грустно вспоминать об этом. Мне досадно, унизительно признаваться, что такой вздор сжимал меня в своих объятиях.

Я отсылаю читателя к моим скудным воспоминаниям. К моим маленьким рассказам о моей жизни. Теперь эти рассказы освещены иным светом. Теперь в них можно увидеть почти все.

В них можно увидеть четыре условных раздражителя, кои действовали на меня с огромной подавляющей силой.

В них можно увидеть мой неосознанный страх. Можно увидеть защиту, притворство, бегство. И ту горечь, которой была помрачена моя жизнь.

И то отношение к женщинам, которое было ими не заслужено.

Какую горькую и печальную жизнь я испытал.

Какое закрытое сердце надо было раскрыть заново.

IX. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

Страшишься ты раздвоенного жала

Ничтожного червя…[78]

1

Значит, это был сексуальный психоневроз?

Нет, это не был сексуальный психоневроз, но и сложную комбинацию психоневроза вошли и сексуальные мотивы. Однако они вошли тогда и в той степени, как это соответствовало росту и развитию человека.

В первоисточнике психоневроза эти сексуальные мотивы отсутствовали.

Мы видели, как возникали механизмы психоневроза. Они возникали по принципу условных рефлексов. Условные нервные связи соединяли четыре «больных предмета». Одним из этих «предметов» была грудь матери. Но это была грудь — питание, еда. Этот объект был увязан с чувством голода, а не эроса. Потеря объекта, казалось, несет гибель, уничтожение младенцу. Борьба и душевный конфликт не выходили за пределы инстинкта самосохранения. Фрейд считает, что все наши импульсы сводятся к сексуальным влечениям, что в основе наших чувств, и даже в основе чувств младенца, лежит эрос. Но данный пример говорит иное. В механизмах этого психоневроза отсутствует сексуальное. И только лишь дальнейшее развитие ребенка внесло этот мотив.

Пусть этот мотив возник в самом крайнем детстве, но в момент возникновения условных механизмов его не было.

Даже если допустить, что, кроме чувства голода, кроме радости утоления его, младенец испытывает еще то неопределенное ликование и ту радость, потеря которых есть в дальнейшем потеря эроса, потеря либидо, как это называет Фрейд, то даже и эта потеря не характеризует еще возникновения психоневроза.

Не от страха кастрации происходит потеря «либидо», потеря радости и ликования. Любой страх способствует кастрации.

Страх и душевный конфликт ребенка возникли на основе более грубых, материальных, вещественных причин. Предметы, в условном значении которых младенец ошибся, — вот что явилось источником психоневроза и вот что создало страх и потерю радости.

Радость утоления голода стала сопровождаться страхом. Условные нервные связи соединили эту радость с бедой. Именно эта условная связь уничтожала радость и несла кастрацию.

Чувство голода и страх потерять питание — вот что за порогом сознания нашло живейший отклик и весьма подготовленную почву.

Наш бессознательный мир сформирован не только биологической сущностью. Нет сомнения, этот мир постоянно испытывал и испытывает иные давления, давления извне. Борьба за существование, добывание пищи, труд — вот что с огромной силой влияет на подсознание.

Именно в этой области возникают страхи — страх потерять питание, страх погибнуть, страх лишиться еды, работы.

Стало быть, далеко не все наши импульсы сводятся к сексуальным влечениям. Страхи, возникшие на основе социальных мотивов, не менее действенны. Они могут иной раз даже главенствовать в глубинах нашего подсознания. И уж во всяком случае они в большей степени подготовляют почву болезненным представлениям.

Бессознательный мир — это более обширный и более разнообразный мир, чем тот мир, который можно вообразить, имея в виду только лишь сексуальные импульсы. Нет сомнения, в этом мире с огромной силой действуют и сексуальные мотивы. Но они далеко не единственны. И патологические торможения в сексуальной сфере являются лишь составной частью патологических торможений, характеризующих психоневроз.

Механизмы головного мозга, открытые Павловым, подтверждают это с математической точностью.

2

Не учитывая законов условных рефлексов, нельзя обнаружить и точных причин нервных страданий.

Не учитывая возникших механизмов, Фрейд и в норме, и в патологии видел действие иных сил — конфликт высшего с низшим, столкновение атавистических влечений с чувством современного цивилизованного человека.

В запрете этих влечений Фрейд увидел причину психоневроза.

Но ведь запрет этих животных влечений и вся борьба в этой сфере есть всего лишь нравственная категория. Она должна вести теорию к поискам нравственных страданий.

Именно так и получилось. И больше того. Столкнувшись с иными силами, не сексуального порядка, теория стала подчинять эти силы силам сексуального характера. Даже в чувстве голода теория увидела эрос. В страхе потерять питание теория обнаружила страх кастрации.

Теория вынуждена была это сделать. Иначе «не сходились концы», не оправдывалась основная идеалистическая формулировка.

Теория замкнулась в поисках сексуальных страданий. Я вовсе не отвергаю их огромную силу, их значение и действенность в течении психоневроза. Я подозреваю максимум бед за этими силами. Но было бы неверно увидеть всю беду только в этом.

С этой ошибкой я столкнулся на первом же практическом уроке. Я рассказал читателю (V глава «Перед восходом солнца») о том, как врач-фрейдист разъяснил мой первый сон.

Врач не понял значения руки, которую ребенок увидел во сне. Ему показалось, что ребенок ассоциировал эту руку с хоботом слона. И что хобот — это фаллос.

Рука нищего, рука вора, отнимающая питание, лапа хищника, зверя, тигра превратилась в сказочный атрибут, вовсе не опасный, не страшный и уж во всяком случае непонятный младенцу.

Этот пример говорит о том, как теория пробует все подчинить сексуальному. Ошибка обнаруживается здесь с поразительной ясностью.

Но ведь практика утверждает, что психоанализ по методу Фрейда излечивает. Нет сомнения — может излечивать. Всякое знание в этой области, любой, даже приблизительный, контроль разума над низшими силами приносит облегчение.

Свет логики изгоняет или оттесняет эти силы.

Психоанализ Фрейда, столь тщательно разработанный, должен излечивать в тех случаях, когда имеют место сексуальные раздражители. Вернее, в тех случаях, когда первоначальные условные раздражители превратились в условные сексуальные раздражители.

Но можно подозревать, что это излечение не будет полным, вернее, окончательным. Ибо врач и больной все время сталкиваются с нравственными категориями и сквозь них не видят механизмов, которые нужно исправить. Не видят нервных связей, которые нужно разорвать.

Эти условные нервные связи продолжают существовать и действовать. Это сулит возврат к болезни и, видимо, огромную сопротивляемость.

Вся суть излечения состоит в том, чтобы найти эти связи и разорвать их, разъединить объекты устрашения, показать их истинную ничтожную сущность.

3

Итак, за порогом сознания оказался обширный малоисследованный мир, низший мир, мир животного.

Первые впечатления младенца с огромной силой вошли и задержались в нем. Они оказались ошибочными, неверными. И в силу этого они определили болезнь, создали конфликт, затормозили развитие и усложнили поведение и характер.

Умственное развитие не исправило ошибок. Напротив, оно усугубило их, доказало логичность и возвело «больные» предметы в символы.

Условные связи продолжали существовать. Условные доказательства — ложные и подлинные — продолжали питать и укреплять нервные связи.

Это была болезнь, болезнь против логики, против здравого смысла. Это был психоневроз, обнаружить который поначалу было не так-то просто.

Поведение человека в основном оставалось разумным. Поступки ничем не отличались от поступков нормального здорового человека. Силы иного порядка — общественные, социальные — воздействовали в первую очередь и определяли характер поведения. И только иной раз в поступках обнаруживалось какое-то «чудачество», какая-то странность.

Это чудачество в особенности было заметным в мелочах повседневной жизни.

На кровати было удобней спать, но я чаще спал на диване.

Удобней было есть за столом. Но я ел стоя, торопливо, иной раз на ходу. Стоя и торопливо мылся в ванне. Тщательно закрывал двери моей комнаты, страшась неизвестно чего.

Я делал десятки странных поступков. Они казались вздорными, нелогичными. Но в них была своя железная логика, логика человека, который желает избежать встречи с «больными» предметами. Только лишь в этих встречах можно было обнаружить болезнь.

Быть может, в дальнейшем по странным поступкам человека, по его чудачествам врачи будут восстанавливать картину его болезни, будут находить истоки его бреда. Быть может, это будет проще, чем искать причину в снах. Ибо все поступки «чудака» инфантильны и они почти в точности воспроизводят сцены из младенческой жизни.

Был период, когда меня страшила улица. Я стал избегать ее. Перестал ходить пешком. Поначалу это казалось чудачеством. Однако за этим чудачеством лежала «целесообразность». Дома меньше опасности. На улице — коровы, собаки, мальчишки, которые могут побить. На улице можно заблудиться. Можно потеряться, исчезнуть. Могут украсть цыгане, трубочисты. Могут задавить экипажи, машины. Вне дома — вода, женщина, война, газы, бомбы, самолеты.

Нервные связи соединяли улицу с десятками бед.

Условные доказательства опасности улицы были многочисленны. Улица и опасность стали тождественны. Связь между ними неразрывна. Обилие доказательств привело к финалу — страх и желание избежать улицы. Именно на улице я впервые испытал страх.

4

Женщина в одинаковой мере, как и улица, несла с собой доказательства опасности. Условные неявные связи соединяли женщину с множеством бед. Борьба и противоречия в области чувств здесь были еще более велики. Но и борьба и противоречия отнюдь не шли по нравственным путям.

Фрейд считает, что в женщине мы видим обычно мать или сестру. И вот причина запретов и торможения. Цивилизация и мораль — вот, дескать, беды, которые приводят человека к страданиям. Нет сомнения, что первые впечатления ребенка, первые возникшие ощущения могут относиться к матери и сестре. Это естественно. Но конфликт создает не только эта нравственная категория, не только страх наказания, конфликт возникает при встрече с «больными» предметами. Больные предметы отождествляют мать и в дальнейшем женщину. Не эрос и в связи с этим нравственная борьба несет торможение. Торможение возникает от страха, который условно связан с «больными» предметами.[79]

Не эдипов комплекс, а нечто более простое и примитивное присутствует в наших бессознательных решениях.

Нет сомнения — нравственная борьба существует, и она может быть велика, но не она создает болезненный конфликт, не только она определяет характер болезни, характер поведения.

Условные связи и условные доказательства опасности — вот что определяет дело. Обилие и точность условных доказательств — вот что создает и усугубляет болезнь.

Причем, достигая максимума, эти доказательства заставляют полностью отказаться от встречи с «больными» вещами.

Вот почему катастрофа чаще всего происходит не в юношеские годы, она приходит в зрелом возрасте — в 35–40 лет. До этого человек как-то обходится, маневрирует, избегая «больных» предметов. Они еще не в полной мере устрашили его.

Но обилие «доказательств» лишает последних надежд.

Как известь при склерозе откладывается в наших артериях и ломает их, так и эти доказательства, откладываясь и нагромождаясь в нашей психике, устрашают нас, изолируют от жизни, омертвляют ткани, кастрируют и ведут к гибели.

Вот где, быть может, одна из причин раннего увядания, ранней смерти, дряхлости.

5

Нет сомнения, что это был весьма тяжелый случай психоневроза. Задеты были главные артерии, по которым струилась жизнь.

Еда и любовь, вода и карающая рука предопределяли печальнейший финал. Гибель была неизбежна. Гибель от голода, страха и, может быть, даже от жажды. Страх наказания и мания преследования могли иметь место в финале.

Этот финал легко было назвать психической болезнью. Между тем это был всего лишь бурный ответ (верней: комплекс ответов) на условные раздражители. Причем ответ целесообразный с точки зрения бессознательной животной психики. В основе этого ответа лежал оборонный рефлекс. В основе ответа была защита от опасности, страх животного, страх младенца. Разум не контролировал этот ответ. Логика была нарушена. И страх действовал в губительной степени

Этот страх цепко держал меня в своих объятиях. И он не сразу оставил меня. Он сжимал меня тем сильнее, чем глубже я проникал в тот поразительный мир, законы которого я так долго не мог понять.

Но я проник за порог этого мира. Свет моего разума осветил ужасные трущобы, где таились страхи, где находили себе пристанище варварские силы, столь помрачавшие мою жизнь.

Эти силы не отступали, когда я вплотную подошел к ним. Они приняли бой. Но этот бой был уже неравный. Я раньше терпел поражения в темноте. Не зная, с кем я борюсь, не понимая, как я должен бороться. Но теперь, когда солнце осветило место поединка, я увидел жалкую и варварскую морду моего врага. Я увидел наивные его уловки. Я услышал воинственные его крики, которые меня так устрашали раньше. Но теперь, когда я научился языку врага, эти крики перестали меня страшить.

И тогда шаг за шагом я стал теснить моего противника. И он, отступая, находил в себе силы бороться, делал судорожные попытки остаться, жить, действовать.

Однако мое сознание контролировало его действия. Уже с легкостью я парировал его удары. Уже с улыбкой я встречал его сопротивление.

И тогда объятия страха стали ослабевать. И, наконец, прекратились. Враг бежал.

Но что стоила мне эта борьба!

С распоротым брюхом я валялся в постели. Мое оружие — бумага и карандаш лежали рядом со мной. И у меня иной раз не было даже силы поднять мою руку, чтобы взять их снова.

Казалось, жизнь оставляет меня.

Как сказано у Гете:

Кто хочет что-нибудь живое изучить,

Всегда его сперва он убивает.[80]

Я был убит, растерзан, искромсан, с тем чтоб снова возникнуть из праха.

Я лежал почти бездыханный, ожидая, что вот еще раз вернется мой противник и тогда все будет кончено. Но он не вернулся.

По временам появлялись привычные симптомы, но они не сопровождались страхом.

Жизнь стала возвращаться ко мне. И она возвращалась с такой быстротой и с такой силой, что я был поражен и даже растерян.

Я поднялся с постели уже не тем, кем я был. Необыкновенно здоровый, сильный, с огромной радостью в сердце, я встал с моей постели.

Каждый час, каждая минута моей жизни наполнялись каким-то восторгом, счастьем, ликованием.

Я не знал этого раньше.

Моя голова стала необыкновенно ясной, сердце было раскрыто, воля свободна.

Почти потрясенный, я следил за каждым моим движением, поступком, желанием. Все было крайне ново, удивительно, странно.

Я впервые почувствовал вкус еды, запах хлеба. Я впервые понял, что такое сон, спокойствие, отдых.

Я почти заметался, не зная, куда мне девать мои варварские силы, столь непривычные для меня, столь не скованные цепями. Как танк двинулся я по полям моей жизни, с легкостью преодолевая все препятствия, все преграды.

Я чуть было не натворил много бед, не соразмеряя своих новых шагов и поступков.

И тогда я задумался над своей новой жизнью. И она показалась мне не столь привлекательной, как вначале. Мне показалось, что я стал людям приносить больше горя, чем раньше, когда я был скованный, слабый. Да, это было так.

И новая печаль мне сжала грудь —

Мне стало жаль моих покинутых цепей.[81]

Передо мной был выбор — вернуться назад, не закрепив завоеванного, или идти дальше. Или отдать свои новые силы искусству — тому, чем я раньше был занят по необходимости, не умея в полной мере реализовать своих чувств иначе как на бумаге.

Но теперь мой разум был свободен. Я волен был распоряжаться как хочу.

Я вновь взял то, что держал в своих руках — искусство. Но я взял его уже не дрожащими руками и не с отчаянием в сердце, и не с печалью во взоре.

Необыкновенная дорога расстилалась передо мной. По ней я иду вот уже много лет. И много лет я не знаю, что такое хандра, меланхолия, тоска. Я забыл, какого они цвета.

Оговорюсь — я не испытываю беспричинной тоски. Но что такое дурное настроение, я, конечно, и теперь знаю — оно зависит от причин, возникающих извне.

6

Однако отчего же пришло излечение? Какие механизмы были исправлены? Почему давние страхи простились с моей особой?

Они простились со мной только лишь потому, что свет моего разума осветил нелогичность их существования.

Эти страхи были увязаны с теми объектами, кои не были опасны в той мере, как это воспринял младенец.

Разорвать эту неверную, условную, нелогичную связь — вот в чем была задача.

Я разорвал эти связи. Разъединил подлинные беды от условных объектов устрашения. Придал этим объектам устрашения их истинное значение. И в этом и заключалось излечение. Отсутствие логики лечилось логикой.

Однако разорвать эти условные нервные связи не всегда было простым делом. Некоторые связи были необычайно сложны, запутанны, противоречивы. Кое-что было столь абсурдным, даже комичным, что, казалось, не может иметь значения. Но тут всякий раз нужно было учитывать позицию младенца, нужно было видеть его глазами, мыслить его образами, страшиться его страхами.

Гром, вода и рука варьировались на разные лады. Нервные связи от этих предметов иной раз тянулись к другим объектам. Воображаемые опасности от этих объектов были иной раз смехотворны. И тем не менее, несмотря на смехотворность этих опасностей, страхи уживались и действовали на протяжении всей жизни.

Карающая рука в равной мере относилась и к еде, и к женщине, и к работе. И ко всему моему поведению. Удар, выстрел, кровоизлияние в мозг — вот ожидаемая расплата. И сила ощущения здесь явно не соответствовала раздражению.

Я рассказывал сон о том, как вода заполнила однажды мою комнату, о том, как она выступила из всех щелей пола и стала подниматься и для меня возникла угроза гибели. Даже и в этом нелепом сне надлежало увидеть страх младенца и последствия этого страха, его условную символику.

Я не считаю возможным перечислять здесь все, с чем я столкнулся. Эта книга — не лечебник. Помимо этого, имеется обширная литература по психоанализу. И подобные случаи, несмотря на ошибочный вывод, перечислены Фрейдом с исчерпывающей точностью.

Однако в отношении условных связей необходимо сказать следующее.

Разрывая эти условные нервные связи, я всякий раз поражался, недоумевал — как они могли существовать, как могли они действовать. Но они действовали, и в той степени, в какой это было губительно для существования. И тут всякий раз нужен был «разговор с собакой», чтоб уничтожить их.

Я разорвал и уничтожил эти условные связи, принесшие мне столь много бед.

И, разорвав условные связи, я освободился от заторможения, от того патологического заторможения, которое всякий раз возникало при встрече с «больными» предметами.

В основе этого заторможения лежал обыкновенный оборонный рефлекс.

Я не могу сказать, что этот рефлекс исчез полностью. Некоторне симптомы механического порядка остались. Но логика их полностью обезвредила — они перестали сопровождаться страхом. И в силу этого они стали постепенно угасать.

Быть может, для полного их угасания потребуется еще пятнадцать лет. Ну что ж, это в пределах человеческой жизни. Приятно будет умирать с сознанием, что механизмы мозга совершенно обновились.

7

Моему знакомому физиологу я обещал не делать в своей работе никаких обобщений.

Я запомнил предостережение его — ничего не обещать людям.

Ну что ж! Ведь я говорю только лишь о своей жизни, о своих печальных днях и о днях освобождения.

Я не выхожу за пределы моей болезни, которую мне удалось убрать.

Однако нет сомнения, люди, имеющие мои свойства, мою чувствительную психику, могут терпеть подобные же бедствия. И тут, мне думается, можно сделать некоторое обобщение — в пределах тех болезней, которые обобщаются названием — психоневроз.

Однако если наука не согласится со мной или найдет мое обобщение слишком смелым, то я и не буду на нем настаивать.

Значит, подумаю я, моя болезнь была в некотором роде исключительной. И господь бог помог мне унести ноги вопреки существующим правилами, по которым мне надлежало закончить мой бренный земной путь столь плачевным образом. И еще одно обобщение я вынужден сделать. Законы условных связей относятся ко всем людям. Не в одинаковой мере, но в той или иной степени они опасны даже и тем людям, кои не имеют моей чувствительной психики.

Эти условные связи опасны всем людям, разум которых не контролирует их. Я вспомнил одну необыкновенную историю. И вслед за ней я вспомнил еще целый ряд историй. И некоторые из них я вам расскажу.

ИСТОРИЯ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ

Равнодушным тоном, не повышая голоса, молодая женщина рассказывает мне о своем горе.

Она хотела иметь ребенка. Она и муж были бы тогда счастливы. Только в ребенке они видят полное воплощение их любви.

Но рок преследует ее. Она беременна в третий раз. И в третий раз ей, видимо, не придется рожать. Беременность проходит крайне неправильно и с такими болезненными явлениями, что врачи снова настаивают на аборте. В третий раз ей придется лечь на операционный стол.

Я смотрю на измученное, необыкновенно усталое лицо молодой женщины. Слезы, вероятно, выплаканы раньше. Осталось — равнодушие, покорность, почти безразличие. И только по судорожно сжатым рукам я вижу внутреннее ее смятение, ад и неравную борьбу, которая кончится поражением.

Я немного поражен силой ее горя.

Мне вдруг показалось, что реакция на это горе не соответствует его истинным размерам.

И тогда я спросил женщину — не была ли связана ее первая беременность с каким-нибудь огорчением.

— Нет, — сказала женщина, спокойно посмотрев на меня.

Потом, смутившись и покраснев, женщина сказала:

— Первая беременность? Самая первая? Но ведь она была не теперь, не при муже.

Необыкновенно смущаясь, женщина сказала, что в первый раз она была беременна, когда ей было 17 лет. Она была ученицей. Ей пришлось скрывать эту беременность от родителей, от школы. Она скрывала это до последнего месяца. Потом она уехала за город к подруге и там родила мертвого ребенка. Она совсем забыла об этом, и вот почему она сказала, что огорчений не было. Конечно, были. И огромные.

Тотчас все стало ясным. Она скрывала свою беременность, ужасаясь этому, страшилась, отчаивалась. Протест ее был велик, горе необыкновенно. Беременность и горе связались воедино, стали тождественны.

Условный рефлекс остался. Нервные связи не были порваны даже тогда, когда изменилась обстановка. Мозг не отметил перемену в судьбе. Новая беременность вновь была воспринята как горе. Ответ организма был бурным.

Еще ничего я не сказал женщине, но уже сама она вдруг поняла, что с ней. Заламывая руки, она сказала:

— Неужели это так? Неужели это идет оттуда?

Я сказал женщине:

— Да, это так. Вам надо разорвать эти условные связи. Надо разъединить прошлое от настоящего. Надо контролировать свои поступки и свое состояние.

Смятение, а потом торжество я прочитал на лице этой женщины.

Через неделю она мне звонила, что ей лучше. Через месяц она сказала, что ей почти хорошо и она будет рожать ребенка.

Она действительно родила благополучно.

ИСТОРИЯ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА

Весьма красивый молодой человек вошел в мою комнату.

Он был высокий, здоровый, даже цветущий. Однако в глазах его было что-то удивительно печальное. Какое-то горе я прочел в его взоре. Темные, почти черные, тени лежали под глазами.

Он сказал:

— Выслушайте меня. Я знаю, что вы не врач. Но мне почему-то кажется, что вы можете мне помочь.

Со всей откровенностью я сказал, что я сам едва справился со своими бедами и категорически отказываюсь разбираться в чужих недомоганиях.

Тогда он заплакал. Я не преувеличиваю. Слезы обильно потекли из его глаз. И как-то по-детски он стал вытирать их руками.

В этом его жесте было что-то крайне инфантильное, ребяческое.

Желая утешить его, я просил рассказать, что с ним.

Обстоятельно он стал рассказывать о своей болезни. У него невроз желудка, и в такой степени, что он вынужден все больше изолироваться от людей. Он лечится давно, ездит на курорты. Но улучшения нет. Напротив, ему хуже. Он несчастен. Он избегает общества. Он потерял все радости жизни. Тошнота, рвота, спазмы желудка и кишечника — вот его печальный удел.

Я спросил — был ли произведен анализ.

Молодой человек сказал:

— Да. Найдена была излишняя кислотность. Диагноз — невроз желудка в тяжелой форме.

Я спросил:

— Когда усиливаются ваши припадки? При каких обстоятельствах?

— Они усиливаются, — сказал он, — на людях, в обществе.

— А дома бывают эти припадки?

— Дома очень редко.

— А когда? Когда вы кого-нибудь ждете? Женщину?

Он молча кивнул головой. И я стал задавать ему вопросы, извинившись, что вмешиваюсь в его интимную жизнь.

Бледнея и краснея, он отвечал.

Потом я стал расспрашивать об его детстве. Он мало помнил о нем. Но вдруг рассказал историю, которую он слышал от своей матери. Мать однажды заснула, когда он был у ее груди. Она очнулась от дремоты, когда ребенок был почти синий. С трудом его вернули к жизни.

Я не стал больше расспрашивать молодого человека. Нервные связи были весьма явственны. Ответ организма был очевиден. Страх и желание избежать гибели лежали в инфантильном ответе. Условные связи не были порваны.

Однако необходим был тщательный последовательный анализ. Я написал записку с моим заключением и направил молодого человека к врачу. К врачу-фрейдисту, ибо врача-павловца не было.

ПРЕСЫЩЕНИЕ

В дни своей юности я встретил одну удивительную женщину.

Она была необыкновенно привлекательной. Но казалось, что она была создана только для любви и ни для чего больше.

Все ее помыслы и намерения были направлены на любовь. Ничто иное ее не интересовало и не трогало. Она была как бы сконцентрирована только лишь в одном направлении.

Нечто бурное было в ее темпераменте. Как метеор она неслась сквозь чужие жизни.

Все мужчины, с которыми она встречалась, были опалены ее страстью.

Некоторые из них погибли из-за любви к ней. Один повесился в подъезде ее дома. Другой стрелял в нее. И она была ранена. Третий едва не задушил ее. Четвертый растратил ради нее огромные деньги и был судим и выслан.

Если б она была умней, она своим существованием, быть может, сумела бы поколебать мировой порядок.

Несчастный ее муж не имел сил ее бросить. Пораженный, он смотрел на ее связи. Прощал ей все ее прегрешения. Он считал ее необыкновенной, единственной. Он не видел в ее поведении распутства. Он полагал, что это ее норма.

Когда он узнал, что я встречаюсь с ней, он пришел ко мне и молча положил листок бумаги на мой стол — это был список ее любовников. Этим он предостерегал меня от нее. Этим он хотел сохранить ее для себя.

Нет, она не принесла мне несчастья. В те годы, в годы моей меланхолии, казалось, ничто не трогает меня.

Почти равнодушный я расстался с ней, и она была обижена тем, что я не повесился и даже не поплакал. И даже был, кажется, рад.

Она уехала на Урал. И оттуда на Дальний Восток. И я одиннадцать лет ее не видел.

И вот однажды я встретил ее на улице. Оказывается, она давно уже вернулась в свой родной город. Ну что ж, нет ничего удивительного в том, что я ничего не слышал о ней, — она живет весьма тихо, нигде не бывает. Ей все надоело — и люди, и чувства.

Я внимательно взглянул на нее. Нет, она была по-прежнему привлекательна. Ее бурная жизнь не отразилась на ее внешности. Мне даже показалось, что она стала красивей, чем раньше. Но вместе с тем какая чудовищная перемена произошла с ней.

Она стала медлительной, вялой, безразличной. Усталость и апатия были во всем ее облике. Глаза ее были погашены. Но ведь ей тридцать лет. Как это могло случиться?

— Все надоело? — спросил я ее. — Никого не любите?

Пожав плечами, она сказала:

— Никого. Все надоело. Кроме отвращения, я не испытываю никаких чувств.

— Это пресыщение?

— Должно быть, — сказала она. И глаза ее затуманились необыкновенной грустью.

— Что-нибудь случилось, произошло за эти годы?

— Нет, — сказала она. — Ничего не произошло. Все то же самое, что и было…

— Да, но было не мало, — сказал я. — Были драмы, скандалы, стрельба, аборты три раза в год…

Усмехнувшись, она сказала:

— Конечно, раз это приносит только огорчения, то на что мне это.

И вдруг в этом ее ответе, сказанном простодушно, необдуманно, я увидел все, увидел причину ее «пресыщения».

Все время и непрестанно ее любовь, ее желания были связаны с несчастьями. Когда-нибудь должен прийти конец? И он пришел. Любовь и несчастье стали тождественны. Условные связи прочно соединили их воедино. Пусть лучше не будет желаний, чем снова беда.

Я снова взглянул на молодую женщину. Я было начал ей говорить о причинах ее несчастья. Но замолчал. И не потому, что она не поняла бы меня. Нет, мне показалось, что ей лучше остаться такой, как сейчас.

Мы стали прощаться. Она протянула свою вялую руку. Безразличным взором скользнула по мне. И, медленно шагая, побрела по улице.

Мне стало жаль ее. Я хотел ей крикнуть, задержать ее, чтоб сказать, что с ней. Но не сделал этого.

Пусть она останется такой, как сейчас, подумал я.

8

Нет, теперь я добродушно взираю на все, что вокруг меня происходит, — я не имею привычки анализировать чужие поступки и не вижу особой радости разбираться в чужих делах. Я живу так, как надлежит жить человеку — в меру думая и не делая из своей головы аппарата по розыску чужих бед.

Но первые годы, столкнувшись с этими делами, я наблюдал за людьми с огромным интересом и волнением.

Меня особенно волновали те болезненные «ответы» людей, которые происходили вне контроля разума. Эти ответы были иной раз столь чудовищны и нелепы, что, казалось, непонятно их значение. Но, подумав, я всякий раз убеждался в целесообразности этих ответов. Конечно, с точки зрения здравого смысла эта целесообразность была нелепой. Но я тотчас находил в ней смысл, если переводил эту нелепость на язык животного или младенца.

В любом невротическом симптоме я находил страх или притворство. В любом поведении невротика и даже иной раз в его смерти было бегство, было желание уйти от «больных» предметов, было бессилие разорвать условные связи.

Я расскажу вам несколько поразительных историй. Они подлинные.

НЕОЖИДАННЫЙ ФИНАЛ

В мою комнату вошла студентка. Она была весьма молодая, миловидная женщина.

Она сдавала последние экзамены. И ей понадобился материал по моей литературной работе.

Она беседовала со мной, почти не поднимая глаз. Но в конце беседы она осмелела. И даже стала со мной кокетничать.

Уже все было сказано, и надо было уходить, но она не уходила.

Потом она ушла, взяв разрешение прийти завтра, чтоб посоветоваться о своей работе. Она пришла на другой день. И была немного печальна. Она стала говорить, что она замужем за студентом, что у них маленький ребенок. Только ребенок и учеба наполняют ее жизнь. И что это очень хорошо. Было бы ужасно, если б ей кто-нибудь понравился, если б кого-нибудь она полюбила. Тогда была бы катастрофа, потому что она не смогла бы обмануть мужа. Ей пришлось бы ломать жизнь, учебу, свою судьбу и судьбу мужа.

Я с удивлением слушал ее речи. Я сказал ей, что она не должна допускать эти чувства.

Едва слышно она ответила:

— Кажется, поздно. Я боюсь, что я полюбила.

Нет, она не сказала, что полюбила меня. Но я увидел это в ее глазах, во всем ее облике, в жестах.

Она была весьма смущена. В этом ее чувстве действительно было что-то неловкое. Да, я был помоложе, покрасивей, но в этой ее стремительности все равно лежало что-то неестественное. В той быстроте можно было заподозрить авантюризм. Она боялась, что я могу так подумать. Я видел ее внутреннюю борьбу, — она хотела уйти, но не ушла, потому что поняла, что я не сделаю шага, чтоб снова встретиться с нею.

Она хотела прийти через два дня. Но не пришла. И я был искренне рад этому.

Она пришла через две недели. Пришла бледная, изменившаяся. Пришла, опираясь на палку.

Она сказала, что тяжело заболела. Что год назад она упала на состязании по легкой атлетике. Зашибла ногу. И вот теперь снова ушиб дал о себе знать. У нее опухоль в колене. Она едва может ходить. Она едва пришла, чтоб сказать, мне о своем чувстве, которое теперь должно погаснуть в ее сердце.

Я тотчас понял причину ее болезни.

Я сказал ей:

— Выкиньте меня из головы. И вы тотчас будете здоровы. Вы заболели, чтоб не приходить ко мне. Ваши ноги перестали вам служить, ибо вы сами сказали, что это будет катастрофа, если кого-нибудь полюбите. Болезнь вас защитила. Она избрала наиболее уязвимое место.

Женщина была умна. Почти с улыбкой она слушала мои слова. Потом стала смеяться. И она смеялась так, что палка упала из ее рук.

Сквозь смех она сказала:

— Это поразительно. Это несомненно так. Мы дружески с ней расстались. И она ушла, позабыв в моей комнате палку.

БЕДНЫЙ ФЕДЯ

Это очень давняя история. И я бы не вспомнил о ней. Но выводы, которые я сделал, неожиданно воскресили эту историю в моей памяти.

Кисловодск. Полустанок Минутка. Через дом от меня живет студент Федя X. Он здесь на Кавказе — так же как и я — на практике.

Федя — студент-математик. Милый юноша. Немного застенчивый. Великолепно поет под гитару.

Почти всякий день он приходит ко мне. И я слушаю его музыку.

Поиграв, он начинает говорить о девушках. Ему не везет. Вот уже все студенты обзавелись «симпатиями», а у него нет никого. Когда же, наконец, это случится?

Это случилось под конец лета. Федя влюбился в свою ученицу. Он давал урок по физике гимназистке последнего класса.

Он полюбил ее. И она, видимо, увлеклась им. Мы стали встречать их в курзале и на скамейках парка.

Неожиданно пришла беда — Федя заболел. Он заболел экземой. Экзема началась на его подбородке и перекинулась на щеки.

Для Феди это было несчастье в высшей степени. Он и без этого был застенчив, но теперь лишаи совершенно обескуражили его. Он перестал встречаться со своей ученицей. Ему было совестно, что она увидит его ужасные багровые пятна.

Это была нервная экзема. И врачи стали лечить Федю мазями и кварцевым светом. Но болезнь усиливалась. Возникло подозрение, что у больного отравление крови, сепсис. Федя почти перестал выходить из дому. Он плакал, говоря, что только при его невезении могло так случиться. Ведь это случилось на другой день после того, как ученица призналась ему в своем чувстве.

В конце августа я возвращался с Федей в Петербург. Мы ехали с ним в одном вагоне. Уже на другой день пути Феде стало лучше. Багровые пятна на его щеках поблекли. К концу пути лицо у Феди стало почти чистым.

Федя не расставался с зеркальцем. С восторгом он убеждался, что болезнь покидает его. С печальной улыбкой говорил, как ему не повезло. На что ему его здоровье, если теперь нет той, кого он полюбил.

Снова говорю — я бы и не вспомнил эту историю. Но я вспомнил ее, ибо со всей очевидностью увидел теперь причину его болезни — это была защита, оборона, бегство.

Страх, в котором надлежало разобраться, преграждал шаги. Неосознанный страх нарушил работу органов секреции. Химизм тела несомненно был расстроен. Отравление могло произойти по причинам внутренним, а не извне.

Я ЛУЧШЕ ОСЛЕПНУ

Эту историю я также не вспомнил бы, если бы мои выводы не совпали с ней.

Умирал мой знакомый. Он был одинокий. И смерть его была страшной, даже ужасной.

Это было в девятнадцатом году.

Он был старый журналист. Воспитанный прошлой жизнью, он был ярый противник новой жизни.

Горе и лишения озлобили его еще больше. Пылая ненавистью, он писал статьи, которые, конечно, нигде не печатали. Он посылал эти статьи за границу, отправлял их со случайными людьми.

Я много спорил с ним, доказывал, что он не прав, что он не видит России, не понимает народа, считает, что народ — это только лишь небольшая прослойка интеллигенции. Что не следует свои мысли отождествлять с мыслями народа. Именно тут его ошибка. И ошибка многих.

Мы поссорились с ним. И я перестал его навещать.

Но я снова пришел к нему, когда узнал, в каком он положении.

У него был нервный паралич. Правая сторона его тела была неподвижна. Однако он был попрежнему неукротим.

Свои статьи он диктовал знакомой стенографистке. И по-прежнему пересылал их за границу, понимая, что ему несдобровать, что дело это раскроется. Но он шел на это. Его идеи были выше его страхов.

За месяц до смерти он ослеп.

Я зашел к нему. Он лежал неподвижный, слепой, беспомощный. Я стал с ним говорить. И он отвечал кротко, смиренно, подавленный своим новым несчастьем. Главным образом он жалеет, что теперь окончательно лишен возможности работать — он даже не может прочитать, что написано.

Неожиданная улыбка промелькнула на его лице. Он сказал:

— Зато теперь я в безопасности. Кому я теперь нужен в таком состоянии.

Он умер. И я позабыл о нем. И только теперь вспомнил. Я вспомнил его улыбку, в которой я прочел какое-то облегчение, даже радость. Мне теперь кажется, что он ослеп, чтобы не писать. Этим он защитил себя от опасности.

Нет, я понимаю, что существуют другие, «настоящие» болезни, которые по всем правилам медицины приводят больного к параличу и к слепоте. Но в данном случае мне показалось, что разрушение и гибель этого человека произошли не по установленным правилам науки.

9

Я вспомнил еще целый ряд историй.

Я вспомнил множество историй. И все они убеждали меня в справедливости моих выводов.

Это были истории неразорванных условных связей, истории тягчайших болезней, катастроф.

Но я вспомнил и счастливые истории разорванных связей, связей, вовремя порванных и поэтому неопасных.

Я вспомнил одного циркового артиста. Ему не удавался номер. Он трижды падал в сетку. Это было на спектаклях. Это был почти скандал. Публика улыбалась. Артисты покачивали головами, говоря, что вряд ли он теперь сможет делать этот номер.

Тотчас после третьей неудачи, когда публика разошлась, артист снял сетку, натянутую под куполом цирка, и дважды выполнил свой номер.

Он разорвал то, что начинало связываться. Он разорвал условную связь — номер и неудачу. Номер снова стал увязан с удачей.

Я вспомнил еще один поразительный случай разорванных, недопущенных связей.

Когда хоронили одного знаменитого летчика, диктор по радио ошибся. Вместо фамилии погибшего летчика он назвал фамилию другого знаменитого летчика, который присутствовал на похоронах.

Этот летчик слегка побледнел и смутился, когда была ошибочно названа его фамилия. Тотчас после похорон летчик отправился на аэродром, сел в самолет и взлетел к небу. Он сделал высотный рекорд, намного перекрыв самого себя. Он доказал себе, что ошибка — это вздор, случайность. И случайность эта не будет увязана с его дальнейшей судьбой.

В самом начале нервные связи, которые могли утвердиться, были разорваны. Это было мужественное решение.

Я вспомнил множество историй разорванных и неразорванных связей. И все они с математической точностью утверждали законы, открытые Павловым.

И в норме, и в патологии законы условных рефлексов были непогрешимы.

В них лежал ключ многих страданий.

10

И тогда я подумал о тех людях, которые уже умерли. О тех людях, которые страдали, так и не узнав причину своих страданий.

С волнением я вспомнил о своих записях, которые я делал в дни своей ужасной хандры. Ведь я записывал все, что относилось к меланхолии, к болезням.

В моем черном списке были замечательные и великие люди, прославленные творчеством, делами. Неужели же и они подчинялись этим законам? Неужели же и их сжимал в объятиях такой вздор?

И тогда я немедленно захотел увидеть причину их страданий, причину их меланхолии, гибели. С трепетом я стал перелистывать мои материалы. Нет, я увидел, что все основное стоит на месте. Все причины их гибели — именно те причины, которые были найдены историками, социологами. Ничто из главного не было здесь поколеблено. Поступки и поведение были предначертаны иными давлениями — извне. Но в общей сумме страданий этих людей я увидел новое слагаемое, которое не учитывалось. А оно иной раз было велико. Оно иной раз давило с такой силой, которая была смертельной.

С волнением я перелистываю мои материалы.

И вот оживают тени прошлого, величественные тени, перед которыми мы склоняемся.

X. ГОРЕ УМУ

Кто высоко стоит, тот знает грозы

И, падая, ломается в куски…[82]

1

Что заставляет меня писать эту книгу? Почему в тяжкие и грозные дни войны я бормочу о своих и чужих недомоганиях, случившихся во время оно?

Зачем говорить о ранах, полученных не на полях сражения?

Может быть, это послевоенная книга? И она предназначена людям, кои, закончив войну, будут нуждаться в подобном душеспасительном чтении?

Нет. Я пишу мою книгу в расчете на наши дни. Я приравниваю ее к бомбе, которой предназначено разорваться в лагере противника, чтоб уничтожить презренные идеи, рассеянные там и сям.

Но ведь гитлеризм не имеет своей философии. Он «с бору и с сосенки» нахватал чужие мысли. О каких же презренных идеях я говорю? Я говорю именно об этих нахватанных идеях — искаженных, упрощенных, сниженных до уровня звероподобных людей.

Беда была невелика, когда произносились салонные речи о бедах, исходящих от разума. Это было полбеды, когда в плане словесной баталии господа литераторы говорили о счастии жить в лесах и в пещерах. И там, вдали от городской сутолоки, искать спасения от машин, от цивилизации, от дальнейшего роста сознания.

Но это уже беда, если подобные речи талдычит солдат, претендующий на мировое господство. А он талдычит эти слова, исказив их, доведя до предела и крайности. Он восклицает, слыша звон, но не зная, где он: «Образование калечит людей…», «Интеллигенция — это отбросы нации», «Я хочу, чтоб моя молодежь была бы как дикие звери…», «Сознание приносит людям неисчислимые беды…»

На заре человеческого разума увидеть закат и желать его! Какое это мрачное желание и в какой темной и низкой душе оно возникло!

Мир померкнет на тысячу лет, если этот ефрейтор на сером коне победителя въедет на весенние поля, столь еще мало вспаханные сохой науки.

Этого не случилось. И не может случиться! Тем не менее «в защиту разума и его прав» следует писать.

И вот одна из причин, почему в грозные дни войны я пишу это мое сочинение.

2

Но не только поэтому я пишу мою книгу. Я пишу ее с надеждой, что она будет полезна, людям.

Быть может, в этом моем желании усмотрится некоторая, что ли, наивность, напрасная цель, неверные домыслы. Я не позабыл слова физиолога: «Ничего не обещайте людям».

Но я обещаю в умеренной степени. Одним, быть может, книга моя доставит отдых, развлечение. Другим вернет душевное равновесие. Третьих рассердит, заставит задуматься. Заставит сойти с Олимпа, чтоб послушать, что произносит неуч, с которым случилось нечто такое, что случается только с собаками.

— Боже мой! — воскликнут они. — Заговорила собака! Дает честное слово, что она все это испытала на собственной шкуре. Господа, давайте посмотрим, так ли все это, как она говорит!

И тут, быть может, на время отвернувшись от собак, они возьмутся за младенцев, кои, вырастая в зрелые существа, доставляют науке столь немыслимые хлопоты и волнения.

Прелестные эти сцены — внимание к людям услаждают мой взор, устремленный в небесные дали.

Именно эти дальнейшие сцены заставляют меня писать мою книгу, заставляют сойти с пути, усыпанного розами.

Да, путь был бы усыпан розами, если б я закончил мою книгу в той поэтической форме, в какой я начал. Ах, это была бы славная книженция, составленная из маленьких изящных новелл, взятых из моей жизни!

С улыбкой радости читатель держал бы эту книгу в своих руках.

Да и мне было бы куда как легче, проще. Ведь без труда, локтем левой руки, почти с божественной легкостью, я писал эти маленькие новеллы, помещенные в моей книге.

И вот взамен их вы теперь видите нечто вроде исследования, с сухими, потусторонними словами — рефлекс, симптомы, нервные связи…

Ах, зачем это! Для чего менять кукушку на ястреба, летящего в небе? Зачем писателю быть еще фельдшером? Господа, велите ему писать так, как он начал!

С превеликим удовольствием я исполнил бы это законное требование. Однако тема не допускает этого сделать. Она не влезает в изящные рамки художественной литературы, хотя, из почтения к читателю, я и стараюсь ее туда как-нибудь втиснуть.

Темой же пренебречь нельзя. Она исключительной важности, по крайней мере лично для меня. Ради нее я и взялся за это сочинение. Ради нее я избрал скорбный путь.

Скорбный путь! Да, я предвижу постные речи, хмурые взгляды, едкие слова.

Я как бы уже слышу скрипучие голоса о ненужности такого внимания к собственному телу, о вреде излишнего контроля над самим собой. К чему, скажут, иметь такой настороженный ум, в его каком-то новом, сомнительном качестве?

Я предвижу это. Однако финал моей книги, надеюсь, рассеет эти сомнения.

3

Итак, на чем мы остановились? Не на словах ли Байрона:

Сочти все радости, что на житейском пире

Из чаши счастия пришлось тебе испить,

И убедись, что, чем бы ни был ты в сем мире,

Есть нечто более отрадное: не быть…[83]

Нет, мы остановились не на этих печальных словах.

Мы остановились на черном списке замечательных и прославленных людей. Потрясенный несчастиями и хандрой этих людей, я захотел узнать: по каким причинам возникали у них эти несчастия. Не по тем ли самым, что у меня?

Мы видели, в каком сложном счете было обнаружено мое страдание, составленное из многих слагаемых.

Теперь, умудренный опытом, я захотел узнать, из каких слагаемых создавалось страдание людей, отмеченных в моем списке.

Вернее, я захотел узнать одно из этих слагаемых, ради которого была задумана моя книга.

Нет, это не легко и не просто сделать. Это надлежит сделать весьма осмотрительно, с полным учетом всего, что окружало этих людей. Эти люди были разных эпох, разных характеров, разных направлений. И, стало быть, не одни и те же силы действовали на них извне. Не одни и те же причины создавали душевный конфликт.

Нередко душевный конфликт возникал у людей, почти минуя биологические основы, действуя вне их. Таков, видимо, душевный конфликт Пушкина. Безвыходное положение в России — вот что лежало в основе его конфликта и вот что привело поэта к гибели.

Печальная судьба России, кризис, переживаемый мировым революционным движением, создали пессимизм и скепсис Герцена — и, стало быть, в какой-то степени душевный конфликт. Однако печальная судьба России не привела Чернышевского к меланхолии. Чернышевский верил в счастливый исход борьбы, он верил в крестьянскую революцию.

Вот в каком сложном счете решаются вопросы о силах, действующих на человека.

Однако столь сложных примеров я постараюсь избежать. Я возьму только тех людей, на которых слишком явно действовали физиологические силы.

Я возьму примеры клинического порядка.

С превеликой осторожностью я подхожу к моему краткому исследованию. Нет, это даже нельзя назвать исследованием. Это материал для исследования. Это эскизы, наброски, отдельные штрихи, по которым лишь отчасти можно восстановить истинную картину.

4

В начале моей книги я дважды упоминал имя Эдгара По, имя замечательного писателя, влияние которого было огромным на судьбу всей мировой литературы.

Личная же его судьба была безрадостна, беспросветна, ужасна.

Эдгар По писал:

«У меня такая угнетенность духа, которая погубит меня, если будет продолжаться…», «Ничто не может мне доставить радости или хотя бы малейшего удовольствия… Чувства мои в данную минуту поистине в жалостном состоянии…», «Убедите меня, что мне надо жить…»[84]

Он писал эти слова, когда ему было меньше тридцати лет. В сорок лет он умер. Вся сознательная его жизнь была заполнена бедой, удивительной тоской, причины которой были ему непонятны.

Я не имею под рукой достаточных материалов, чтобы тщательно исследовать жизнь этого человека. Но даже скудные материалы говорят о крайне чувствительной психике, о болезненном сознании, о неврозах, какие нельзя не заметить. Я отмечу несколько фактов, взятых из биографических материалов. Я отмечу те факты, какие мне кажутся характерными, какие имели значение или влияли на болезненную психику Э. По.

Его родители жили в нищете. Они умерли, когда ребенку было два года. Приемный отец взял его на воспитание.

Когда приемный отец пришел его взять (пишет биограф), мальчик находился в каком-то оцепенении. Нянька успокаивала ребенка тем, что совала в его рот хлеб, намоченный в вине.

В пятилетнем возрасте ребенок едва не погиб. Он упал с дерева. Причем упал в воду, в пруд. Мальчика вытащили из воды почти мертвого, без пульса. Его едва вернули к жизни.

Когда ему исполнилось шесть лет, его повезли в Англию. Все биографы отмечают, что длительное морское путешествие произвело на него необычайно сильное впечатление.

Один из биографов пишет:

«Дважды совершенное путешествие по воде предрешило многое в развитии отличительных черт Э. По».

Другой биограф (Гаррисон) отмечает, что

«на его впечатлительный характер чрезвычайно повлияли два океанских путешествия».

Тот же биограф отмечает, что Э. По весьма долго не мог научиться плавать, хотя настойчиво стремился к этому. С необыкновенным упорством он старался постичь эту науку. Однако он научился плавать уже будучи взрослым. И даже достиг в плавании рекорда, проплыв однажды несколько миль.

Однако плавание нередко заканчивалось бедой.

«Однажды, — пишет биограф, — он вышел из воды весь покрытый волдырями» (!).[85]

Нередко плавание заканчивалось рвотой.

Мы видим сцены необыкновенной ясности: человек, несомненно, преодолевал какие-то огромные внутренние преграды, возникающие вне сознания. Можно смело сказать, что вода действовала на Э. По угнетающим образом. Оборонный рефлекс сопровождал любое столкновение с водой. Неосознанный страх присутствовал при встрече с условным раздражителем.

Я не берусь восстанавливать общую картину психоневроза Э. По. Но я могу отметить, что объекты устрашения и условные связи, ведущие к ним, весьма явственны. Можно подозревать, что отношение к женщинам было весьма неблагополучным. Эдгар По пишет женщине, которую он любит (Ел. Уитман[86]):

«Я избегал вашего присутствия и даже города, в котором вы жили…»

Интересно отметить, что Э. По избегал этой женщины, так как он (не имея на то никаких оснований) считал ее замужней. И только потом он «в этом разуверился».

Мотив для того, чтобы избежать этой женщины, был поистине необыкновенным. Понадобились нравственные, искусственно придуманные мотивы для того, чтобы оправдать свое, казалось бы, непонятное бегство.

В другом письме Э. По пишет этой женщине:

«Я не смел говорить о вас, тем менее видеть вас. В течение целых лет ваше имя ни разу не перешло моих губ… Самый шепот, касавшийся вас, пробуждал во мне трепещущее чувство, смутно слитое из страха, восторженного счастья и безумного необъяснимого ощущения, которое ни на что ни походит так близко, как на сознание вины…»[87]

С поразительной ясностью Э. По раскрывает картину своей беды. Сам того не подозревая, он дает тщательный анализ своего психического состояния. Он находит в своем состоянии элементы: страх, радость и вина.

Нет сомнения, что школа Фрейда увидела бы в этом так называемый эдипов комплекс. Другими словами, увидела бы в этом тайное и подавленное влечение к своей матери. Она увидела бы в этом нравственный запрет и боязнь наказания, которое налагается на человека в условиях цивилизованной жизни.

Биографы отмечают, что Эдгар По любил образ своей матери. Всю жизнь он не расставался с медальоном, в котором был ее портрет.

Должно быть, и в этом маленьком факте школа Фрейда увидела бы истинное оправдание своих выводов.

Тем не менее выводы эти не оправдываются. Мы снова видим здесь не что иное, чем эдипов комплекс. И вот почему.

Мать Эдгара По умерла, когда ребенку было два года.

Сомнительно, что годовалый ребенок мог испытывать нравственные волнения или страх наказания за свои младенческие чувства к матери.

Но еще более сомнительна, что эти чувства и волнения ребенок испытывал после двух лет. Он не мог их испытывать. Он не видел матери — она умерла.

Стало быть, ребенок не мог подавлять или запрещать свое влечение к матери, в какой бы форме оно ни было. И стало быть, если возник запрет, то он возник по иным причинам, не оправдывающим соображения Фрейда об эдиповом комплексе.

Какие же в таком случае могли быть иные причины? Только те, о которых мы говорим в нашей книге.

Не нравственные мотивы и не страх наказания за свои младенческие «влечения», иного характера страх — страх к предметам, в условном значении которых младенец ошибся, — вот что имеет место.

Оборонный рефлекс мог возникнуть только лишь на основе этих «вещественных» мотивов. Все остальные мотивы были продиктованы дальнейшим развитием. Нет сомнения, они могли, оказывать влияние на поведение субъекта. Однако сомнительно, что эти мотивы могли носить патологический характер.

Итак, среди болезненных представлений Э. По мы находим несколько элементов весьма явственных: вода — мать — женщина. Можно допустить, что имелись еще и иные объекты устрашения.

Однако и найденные объекты с достаточной ясностью говорят нам о патологическом характере отношения к ним.

Не понимая, что с ним и каковы причины его несчастья, Э. По стал пить. Этим он хотел сбросить с себя оцепенение, хандру, торможение, которые возникали у него при столкновении с объектами его устрашения.

Умер Э. По неожиданно и при странных обстоятельствах. Он выехал из Балтиморы в Филадельфию. Поездной кондуктор нашел его на полу в каком-то странном оцепенении. Его отправили в больницу. И там он вскоре умер.

Свидетели его смерти писали, что и в больнице он все время находился в каком-то судорожном состоянии.

Весь путь его жизни, его болезни, тоски и гибели имеет следы патологии, имеет, как мне кажется, следы неверных условных связей, ошибочно возникших при первом знакомстве с окружающим миром.

5

О болезни Гоголя я сделаю более обстоятельное исследование. Впрочем, психика Гоголя, с чертами огромных противоречий, чрезвычайно сложна. И, видимо, добиться исчерпывающего анализа не представляется возможным без некоторых документов, каких мы не нашли в записях современников Гоголя.

Я отмечу только лишь то, что мне кажется бесспорным.

Нет сомнения, что болезнь Гоголя складывалась не только по причинам физического характера. Герцен, например, считал, что «николаевский режим вел Гоголя в сумасшедший дом».[88] В этих словах было нечто справедливое.

С огромной силой Гоголь изобразил николаевскую Россию. Он нашел беспощадные и точные слова, изображая помещичью жизнь, николаевский строй и пошлую, фальшивую мораль общества.

На этих своих литературных позициях Гоголь был революционером, демократом, истинным представителем народа.

Однако Гоголя устрашили и безрадостные картины, какие он нарисовал, и революционность, о которой он не помышлял.

Разлад оказался весьма велик между художником и человеком, между реальной жизнью и желанием увидеть Россию иной. Он хотел вырваться из тисков этого конфликта. Но не смог этого сделать. Он не смог и не захотел пойти по той дороге, по которой шли Белинский, Чернышевский и революционная демократическая молодежь.

Гоголь сделал шаг с тем, чтобы примириться с печальной действительностью, но этот шаг привел его в стан его же врагов.

Это и было трагедией Гоголя, той трагедией, которая усугубила его болезнь, ускорила его гибель.

Однако, помимо этой трагедии, Гоголь нес в себе и другую трагедию — конфликт физиологического порядка, который столь бурно отразился в его болезни, в его психоневрозе.

Черты этого психоневроза отчетливо видны на протяжении всей жизни Гоголя.

Эти болезненные черты были замечены окружающими в раннем его детстве.

В 1815 году (Гоголю пять-шесть лет) «вельможа и благодетель» Трощинский писал отцу Гоголя:

«…Да будет вам известно, что я трактовал с Наталинским (врачом) о слабости здоровья Марии Ивановны и о золотушных припадках вашего Никоши…»[89]

Эти непонятные «золотушные» припадки стали повторяться и в юности, и в зрелые годы.

Эти припадки достигали иной раз огромной силы. И тогда Гоголь не находил себе места — «не мог ни лежать, ни сидеть». При этом иной раз у него возникала тоска в той степени, какая позволила ему однажды воскликнуть:

«Повеситься или утонуть казалось мне как бы похожим на какое-то лекарство и облегчение».[90]

Однако врачи не находили у Гоголя сколько-нибудь серьезной органической болезни. Его лечили от золотухи, от ипохондрии, от «геморроидов», от желудочных заболеваний.

Лечение не имело успеха, и физическое состояние Гоголя стремительно ухудшалось.

Однако были моменты, когда многолетняя болезнь Гоголя мгновенно исчезала. И тогда он вновь чувствовал себя здоровым и юношески свежим. Гоголь не раз отмечал эту странность своей болезни.

В 1840 году Гоголь писал (Погодину):

«Дорога… сделала надо мной чудо. Свежесть и бодрость взялась такая, какой я никогда не чувствовал».[91]

В письме (2 января 1846 г.) Гоголь писал А. П. Толстому:[92]

«Я худею, вяну и слабею и с тем вместе слышу, что есть что-то во мне, которое по одному мановению высшей силы выбросит из меня недуги все вдруг…»[93]

Стало быть, Гоголь и сам чувствовал, что его болезнь не есть нечто, раз навсегда данное, органическое. Это болезненное «нечто» может уйти, исчезнуть и не вернуться к нему. Уже это одно обстоятельство позволяет нам предположить в болезни Гоголя ту болезнь, о которой мы сообщаем в нашей книге.

Допустим, что наше предположение правильно. Допустим, что Гоголь чем-либо был травмирован в младенческом возрасте.

Как исследовать эту травму? Как проанализировать течение этой болезни?

Мне кажется, что это возможно сделать по тем особенностям и «странностям», какие характерны для поведения Гоголя в его личной жизни. Какие же «особенности» мы наблюдаем в поведении Гоголя?

Этих странностей немало. Однако основной «странностью» можно считать отношение Гоголя к женщине.

Известно, что Гоголь не был женат. И не стремился к этому. Более того, мы не знаем ни одного сколько-нибудь значительного увлечения Гоголя.

В 1829 году Гоголь писал матери о своем чувстве к какой-то незнакомке, которую он назвал «божеством, слегка облеченным в человеческие страсти».

Слова, найденные для описания своей влюбленности, необычайны и для исследователя чрезвычайно важны:

«Адская тоска с возможными муками кипела в груди моей. О, какое жестокое состояние!.. Если грешникам уготован ад, то он не так мучителен! Нет, это не любовь была… В порыве бешенства и ужаснейших терзаний, я жаждал, кипел упиться одним только взглядом, только одного взгляда алкал я… Взглянуть на нее еще раз — вот было одно-единственное желание… С ужасом осмотрелся и разглядел я свое ужасное состояние. Я увидел, что мне надо бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь…»[94]

Даже если это не реальная любовь, а всего лишь фантазия, выдумка, то и в этом случае аналитический характер этой выдумки остается.

Страх, ужас, муки, смерть — вот что идет рука об руку с женщиной! Вот что сопровождает любовь.

И только бегство может сохранить жизнь. И вот это бегство мы видим на протяжении всей жизни Гоголя.

Он избегал женщин. И, вероятно, не знал их.[95] Хотя и понимал, что столь длительное воздержание не может не отражаться на его здоровье.

Гоголь писал о К. Аксакове:[96]

«Если человек, достигнув тридцати лет, не женился, то он делается болен…»[97]

Несомненно, эти слова Гоголь относил и к себе самому. Тем не менее он не изменил своей жизни. И не мог ее изменить, так как препятствия были значительны и вне его власти.

Какого же рода были эти препятствия?

Видимо — неосознанный страх, возникающий в силу оборонных рефлексов, тот страх, в котором так красноречиво признавался сам Гоголь в письме о своей влюбленности.

Каким же образом возник этот страх? Когда? И на чем он был основан?

Этот страх мог возникнуть только лишь в младенческом состоянии. Ибо только младенческий возраст мог создать страх, до такой степени лишенный логики.

Но ведь этот страх относился к женщинам. К кому ж именно он первоначально возник?

Он мог возникнуть к матери — вернее, к тем объектам устрашения, какие были условно связаны с матерью. Ведь по законам условных рефлексов, ребенка страшит и мать, и объекты устрашения, связанные с ней, с той только разницей, что страх этот усложнялся противоречиями и уживался вместе с радостью и стремлением.

В дальнейшем любой образ женщины мог вызвать этот противоречивый страх, ибо в младенческом уме ребенка (как и в низшем этаже нашей психики) мать и женщина, видимо, отождествляются и по вещественным материальным признакам (грудь, рука, тело), и по ощущению радости.

Но если условные нервные связи соединили образ женщины с несчастьем, ужасом и даже гибелью, то эти чувства должны проявляться и в отношении к матери.

Разве так обстоит дело у Гоголя?

Да, именно так. Отношение Гоголя к матери было в высшей степени противоречивым и странным.

Его «почтительная сыновья любовь» к матери уживалась с нежеланием ее видеть. Он находил разные предлоги и мотивировки для того, чтобы не поехать к ней, и для того, чтоб она не приехала к нему.

Он отговаривался делами, нездоровьем и тем, что он дома испытывает хандру.

Он писал матери (в декабре 1837 г.):

«Когда я был последний раз у вас, я думаю, сами заметили, что я не знал, куда деваться от тоски… Я сам не знал, откуда происходила эта тоска…»[98]

В другой раз, когда Гоголь поехал к матери, он почувствовал эту тоску уже в экипаже.

Гоголь, который отлично переносил любую дорогу и даже считал, что дорога — его лекарство, на этот раз не мог ее вынести. Его «нервическое» состояние дошло до таких пределов, что он решил вернуться в Москву.

И он действительно с полпути вернулся назад, не доехав до своего имения.

Гоголь любил свою мать на расстоянии и всячески избегал встречи. И в этом он дошел до того, что свои письма к ней, посылаемые из Москвы, он не раз помечал заграничными городами — Веной, Триестом.

Вот обстоятельства, которые поставили в туник многих биографов Гоголя. Этот обман казался загадочным, непонятным.

На самом же деле он объяснялся весьма просто: нежеланием Гоголя увидеться с матерью, бегством от нее. Пусть она думает, что он за границей, иначе она снова будет настаивать на встрече.

Но, может быть, он делал это, чтоб не совершать длительного путешествия? Может быть, ему, обремененному делами и заботами, было не до того? Нет, мать не всегда настаивала на его приезде. Она сама хотела бы побывать в Москве.

В таком случае Гоголь, может быть, стеснялся ее, стыдился ее провинциального вида? Нет, судя по письмам, Гоголь уважал ее, почитал, испытывал к ней истинные чувства, оберегая ее от волнений и забот.

Видимо, нечто иное удерживало его от встреч с матерью.

Это нечто иное было неосознанным, инфантильным. Условные связи явственно тянулись к объектам устрашения — к дому, к матери, к женщине.

Эти связи на протяжении всей жизни оставались неразорванными и действовали губительно.

Когда однажды встречи с матерью нельзя было предотвратить. Гоголь нашел весьма холодные и неприятные слова, говоря об ожидаемой встрече. Он писал Данилевскому[99] (декабрь 1839 г.):

«…желая исполнить сыновний долг, то есть доставить случай маменьке меня видеть, приглашаю ее в Москву на две недели…»[100]

По-видимому, мать была невольной виновницей младенческого конфликта.

Но ведь в уме младенца мать — это не только мать, это еще — питание, еда и радость утоления голода. Значит, и в этой области должны были быть странности, «чудачества», непорядки — быть может, даже в большей степени, чем в ином, ибо условные связи здесь еще более прочны, так как «столкновения» с этим объектом постоянны и нет возможности их избежать.

Мы знаем, как проходили последние трагические дни Гоголя. Он отказался принимать пищу и морил себя голодом.

Последние же дни он вовсе перестал есть, несмотря на уговоры и мольбы окружающих.

Тогда его стали кормить искусственно, силой. Он кричал и умолял не трогать, «не мучить его».

Однако отказ Гоголя от еды не возник из-за какой-либо желудочной болезни или отсутствия аппетита.

Доктор Тарасенков пишет:

«Пульс был ослабленный, язык чистый, но сухой, кожа имела натуральную теплоту. По всем соображениям видно было, что у него нет горячечного состояния, и неупотребление пищи нельзя было приписать отсутствию аппетита…»

Тот же Тарасенков пишет:

«Он не хотел в этот день ничего есть, и когда после съел просфору, то назвал себя обжорой, окаянным, нетерпеливцем и сокрушался сильно».

Может быть, это было «религиозное исступление», какое видят в этой голодовке многие биографы?

Нет, религиозный мотив, может быть, и имел значение, но он не был основным и даже существенным.

Мы знаем, что духовные особы — духовник и приходский священник — уговаривали Гоголя есть.

Известно, что приходский священник почти силой заставил Гоголя «принять ложку клещевинного масла».

Более того. Толстой обратился с просьбой к митрополиту Филарету «воздействовать на расстроенное воображение кающегося грешника» — приказать Гоголю принимать пищу и слушаться распоряжения врачей.

Митрополит велел передать Гоголю свое приказание, говоря, что «сама церковь повелевает в недугах предаться воле врача».

Однако и это высокое приказание не произвело перемены в мыслях больного. Ибо в основе отречения от еды лежали не религиозные мотивы.

Чем же сам Гоголь объяснял свой отказ от еды? Он находил весьма странную и вместе с тем показательную мотивировку. Доктор Тарасенков пишет:

«За обедом Гоголь употреблял только несколько ложек овсяного супа или капустного рассола. Когда ему предлагали кушать что-нибудь другое, он отказывался болезнью, объясняя, что чувствует что-то в животе, что кишки у него перевертываются, что это болезнь от отца, умершего в такие же лета, и притом оттого, что его лечили» (!).[101]

Этот инфантильный ответ Гоголя весьма разъясняет сущность его отказа от еды.

Во-первых, мешают спазмы и судороги (симптомы оборонного рефлекса?). Во-вторых, эти слова Гоголя говорят о нежелании лечиться, другими словами — о нежелании быть здоровым. Вот где вся суть его болезни и гибели. Лучше умереть, чем испытывать то, что он испытывает.

Вот в каком счете решался вопрос о голодовке Гоголя.

Однако как же совместить его голодовку с тем пристрастием к еде, какое было весьма характерно для Гоголя? Об этом пристрастии Гоголя мы читаем всюду — в мемуарах, в письмах, в воспоминаниях.

По воспоминаниям мы узнаем, как иной раз Гоголь «священнодействовал» за обедом, как торжественно приступал к еде и какое значение он придавал хорошему обеду.

В своих письмах (к Данилевскому) Гоголь называл ресторан «храмом» и даже «храмом жертвы» (!).[102]

В мемуарах мы читаем, что Гоголь иной раз сам приготавливал пищу, готовил обед. Причем делал это он весьма торжественно и серьезно.

С. Аксаков пишет:

«Он от всей души занимался этим делом, как будто оно было его любимое ремесло. И я подумал, что если б судьба не сделала Гоголя великим поэтом, то он был бы непременно артистом-поваром».[103]

Значит, отношение к еде у Гоголя было несколько странным и даже преувеличенно торжественным.

Причем эта странность выражалась постоянно и была замечена всеми мемуаристами.

М. Погодин пишет о том, как некто Бруни,[104] говоря о Гоголе, воскликнул:

«Да мы нарочно ходили иногда смотреть на Гоголя за обедом, чтоб возбуждать в себе аппетит, — он ест за четверых».[105]

П. Анненков[106] пишет:

«Получив тарелку риса по своему вкусу, Гоголь приступил к ней с необычайной алчностью, наклоняясь так, что длинные волосы его упали на самое блюдо, и поглощая ложку за ложкой со страстью и быстротой».[107]

С. Аксаков пишет:

«Гоголь взял на себя распоряжение нашим кофеем, чаем, завтраком и обедом…»[108]

М. Погодин пишет:

«Первой заботой Гоголь имел устроить утреннее чаепитие. Запасы отличного чая у него никогда не переводились. Но главным делом для него было набирать различные печения к чаю. И где он отыскивал всякие крендельки, булочки, сухарики — это уже только знал он, и никто более… Начинаются наливания, разливания, смакования, потчевания и облизывания. Ближе часа никогда нельзя было управиться с чаем…»[109]

Это удивительное пристрастие Гоголя замечено было даже его товарищами по школе.

Некто Любич[110] сообщал:

«В карманах брюк у него постоянно имелся значительный запас всяких сладостей — конфект и пряников. И все это по временам, доставая оттуда, он жевал не переставая, даже в классах, во время занятий…»[111]

И еще запись о школьных годах Гоголя:

«Он постоянно сосал медовые пряники, ел сладости и пил грушевый квас. Гоголь или сам приготовлял его из моченых груш, или покупал его на базаре…»

При этом необыкновенном пристрастии Гоголь подчас жаловался на отсутствие аппетита, на несварение желудка, на всякого рода недомогания. Однако в основном это преувеличенное и торжественное отношение к еде оставалось.

Однако всякий раз, приступая к еде, Гоголь (как сообщают свидетели его обедов) «капризничал», нервничал, а иногда и сердился.

П. Анненков пишет:

«Гоголь поразил меня, однако, капризным, взыскательным обращением с прислужником. Раза два он менял блюдо риса, находя его то переваренным, то недоваренным».[112]

Ф. И. Иордан[113] пишет:

«Спросив какое-нибудь блюдо, Гоголь едва, бывало, дотронется до него, как уже зовет полового и требует переменить кушанье по два, по три раза, так что половой трактира почти бросал ему блюдо, говоря: «Синьор Николо, лучше не ходите к нам обедать, на вас никто не может угодить».[114]

Как бы младенческие инфантильные сцены разыгрываются перед едой. Какое-то необыкновенное волнение присутствует перед этим торжественным процессом.

Мы знаем, как противоречиво складываются чувства и желания человека, основанные на первых младенческих представлениях. Иной раз страх, связанный с желанием, не гасит его, а, напротив, усиливает. Происходит как бы борьба за объект устрашения, который могут отнять. И временная победа над этим объектом увеличивает торжество победителя. Однако окончательная победа остается за страхом.

И механизм этой победы иной раз основан на ослаблении контроля. Науке известно, что кора мозга, ослабляя свой контроль (в силу утомления, болезни, старости), позволяет вновь возникнуть оттесненным животным и младенческим силам.[115]

Переутомленный, ослабленный болезнью, мозг Гоголя (вернее, кора мозга) перестал контролировать даже в той неполной степени, в какой этот контроль осуществлялся в молодые годы. И вот мы видим трагические сцены голодовки, видим неосознанный страх, который постоянно присутствовал к еде. Младенческие представления: и животные силы, не контролируемые сознанием, одержали верх.

Однако условные нервные связи соединяли с опасностью не только еду, женщину, мать. Они соединяли еще целый ряд объектов — дом, ночь, кровать.

И в силу этого «опасности» возникали на каждом шагу. И борьба с этими «опасностями» была тягостной, непосильной. Можно было спасаться только бегством. Только бегство разрывало эти связи, избавляло от «опасностей».

Именно бегство характеризует поведение Гоголя. Только садясь в экипаж, он чувствовал освобождение, отдых, здоровье.

Сколько раз он писал, как исцелила его дорога.

По словам Смирновой[116] (1837 год), «Боткин усадил полумертвого Гоголя в дилижанс…».[117]

Далее Гоголь сообщает о себе:

«Добравшись до Триэста, я себя почувствовал лучше. Дорога — мое единственное лекарство — оказала и на этот раз свое действие…»[118]

Еще бы, дорога уводила его от опасностей. Неосознанный страх покидал его. Вот что служило исцелением…

Но это было временным исцелением. Та же дорога вновь вела его к женщинам, к еде, к лечению, за которым следовало здоровье, а за здоровьем — еще большие «опасности», еще большая возможность встретиться с тем, что его страшило.

Положение было «безвыходным», ибо даже болезнь не служила облегчением. Ведь болезнь связана с постелью, с кроватью. А кровать была условно «связана» с той тягостной драмой, которая когда-то разыгралась в младенческом возрасте.

Интересно отметить, что многие из биографов и мемуаристов заметили странное отношение Гоголя к кровати. На кровать он почти не ложился, хотя кровать и стояла в комнате. И даже на диван он не всегда ложился. Он предпочитал дремать, сидя в кресле.

П. В. Анненков «сокрушался и тревожился», видя «такую причуду» Гоголя.

Анненков так описывает ночи, проведенные с Гоголем:

«Гоголь довольно часто, а к концу все чаще и чаще, приходил в мою комнату, садился на узенький плетеный диван из соломы, опускал голову на руку и дремал долго после того, как я уже был в постели и тушил свечу. Затем переходил он к себе на цыпочках и так же точно усаживался на своем собственном соломенном диванчика и сидел вплоть до света…»[119]

Сам Гоголь объяснял эту свою странность тем, что в его теле происходит какое-то «замирание», когда он ложится на кровать, и, кроме того, он «боится обморока».

Далее Анненков сообщает:

«Со светом Гоголь взбивал и разметывал свою постель для того, чтоб служанка, прибиравшая комнаты, не могла иметь подозрения о капризе своего жильца…»

Оказывается, помимо инфантильного страха, который испытывал Гоголь, ему нужно было еще притворяться, что страха нет и нет бегства.

Какие младенческие сцены разыгрывались во взрослые годы! И с какой силой они держали Гоголя!

Вот поразительный пример замечательного ума, находящегося под властью бессознательных представлений.

Какие тягчайшие страдания испытал великий поэт! Какую боль мы испытываем за эти его страдания! Их не было бы, если б контроль над низшими силами был осуществлен.

Эти страдания, испытанные Гоголем, не снижают образ великого художника, поэта, литератора. Не омрачают нашу память о нем. Гоголь был на уровне знаний своего времени. Но уровень науки был недостаточно высок. Наука того времени блуждала в потемках в этой области. Она не смогла помочь Гоголю. Или даже разъяснить ему, как разъясняет теперь нам.

6

Передо мной на письменном столо лежат еще несколько исследований. И выводы в одинаковой мере сходятся.

Я не стану затруднять читателя подробностями этих исследований. Мне кажется, что и два приведенных примера достаточно убеждают.

В чем убеждают? Хотя бы в том, что необходим контроль разума над низшими силами.

Однако я приведу еще несколько коротких примеров из этой области.

Свое мрачное состояние Некрасов приписывал расстроенному здоровью, главным образом болезни печени. Некрасов пишет:

«Доктор Циммерман объявил, что у меня расстроена печень. Итак, я дурю от расстройства печенки!..»[120]

Долгие годы Некрасова лечили от этой болезни.

Однако после смерти тело было вскрыто, и внутренние органы, включая печень, найдены были в хорошем состоянии.

Доктор Белоголовый,[121] присутствовавший при вскрытии, пишет:

«Для 52 лет он сохранялся изрядно.[122] Никаких болезней, кроме конституционального специфического расстройства, не было».[123]

Меланхолия же сопровождала Некрасова всю жизнь. Даже семнадцатилетним юношей, едва вступив в жизнь, Некрасов писал:

И в новый путь с хандрой, болезненно развитой,

Пошел без цели я тогда…[124]

Эта «болезненно развитая хандра» происходила не от болезней тела. Причины ее лежали в ином. Даже при поверхностном анализе можно было убедиться в наличии бессознательных представлений, подчас одерживающих верх.

Предполагалось, что у Салтыкова (Щедрина) опухоль в мозгу, так как у него были, как пишет доктор Белоголовый, «судорожные сокращения в мышцах тела… — до такой степени сильны, что писание стало для него не только затрудни тельным, но и почти невозможным».

В 1881 г. (пишет Белоголовый) «эти подергивания стали чрезвычайно велики и приняли вид Виттовой пляски».

Кроме того, у него возникли «боли в глазах, не связанные ни с каким очевидным поражением глазного аппарата».

Эти симптомы и «мучительные припадки свойственной ему хандры» навели врача на мысль, что у Щедрина «имеется опухоль или киста в мозгу».[125]

Однако по вскрытии (как сообщает тот же врач) ни опухоли, ни кисты, ни каких-либо изменений в тканях мозга не было обнаружено.

Причины, несомненно, гнездились, в функциональных расстройствах, в бессознательных представлениях, в сфере ошибочных чувств, ошибочных ответов на те раздражения, кои не соответствовали силе и целесообразности этих ответов.

Вероятно, современная наука в первую очередь произвела бы анализ психики, прежде чем высказывать предположения об опухоли в мозгу.

Такого рода анализ, быть может, сохранил бы жизнь величайшего романиста Бальзака.

История его любви (к Ганской[126]) есть история его болезни и гибели.

В течение многих лет он переписывался с этой женщиной. Он ее любил с той силой, на какую способен человек большого сердца и большого ума.

На расстоянии (они жили в разных странах) она не была ему «опасна». Но когда она захотела уйти от мужа, чтоб приехать к нему, он написал ей:

«Бедная привязанная овечка, не покидай своего стойла».

Однако она «покинула свое стойло». Она приехала (в Швейцарию) — чтобы повидаться с Бальзаком. Однако это была несчастная встреча. Бальзак почти избегал Ганскую.

Биографы были поставлены в тупик его поведением.

Один из биографов пишет:

«Он почувствовал боязнь узнать ту, которую любил».

Другой биограф пишет:

«Он испугался слишком большого счастья» (!).

Третий биограф делает вывод:

«У него была скверная комната, и он стеснялся приглашать ее к себе».[127]

Какой вздор! И какие пошлые мотивы найдены для объяснения бегства, обороны, страха.

Но вот у Ганской умер муж. Все нравственные мотивировки отпали. Никаких отступлений больше не могло быть.

Бальзак должен был выехать в Польшу, чтоб жениться на Ганской.

Биограф пишет, что это решение ехать необыкновенно взволновало его.

«Сев в коляску, Бальзак чуть было не остался там навсегда».

С каждым городом, приближаясь к цели путешествия, Бальзак чувствовал себя все хуже и ужасней.

У него началось удушье в такой степени, что дальнейший путь казался ненужным.

Он приехал в Польшу почти развалиной.

Слуги поддерживали его под руки, когда он вошел к Ганской.

Он бормотал:

«Моя бедная Анна, я, кажется, умру прежде, чем дам вам свое имя».

Однако это его состояние не оборонило его от венчания, которое было назначено заранее.

Последние дни перед этим Бальзак был почти парализован. Его внесли в церковь сидящим в кресле.

Он вскоре умер. Умер пятидесяти лет от роду. Это был человек огромной физической силы, огромного темперамента. Но это не спасло его от поражения.[128]

Мы видим на этом примере, какой силы может иной раз достичь противник. И какая иная оборона требуется для победы над ним, над ложными инфантильными представлениями, столь устрашающими наш бессознательный мир.

7

Таких примеров поражения, примеров тоски, болезней и гибели можно привести немало. Но я этим ограничусь.

Люди видели перед собой, казалось бы, наглядные примеры: высокий ум чаще других терпит страдания. Казалось, эти страдания относятся ко всякому высокому уму. Казалось, высокий ум несет беду, горе, болезни. Однако эти страдания вовсе не относились к высокому уму. Они относились к уму, главным образом связанному с искусством, с творчеством, в силу особых, специфических свойств этого ума, в силу склонности этого ума к фантазиям, к сверхчувствительным восприятиям. Именно эти особые свойства ума (чаще всего наследственного характера) давали большую возможность для возникновения ошибочных нервных связей, почти всегда основанных на ложных младенческих фантазиях!

Однако это вовсе не означает, что все люди искусства, творцы и фантазеры, обязательно несут с собой болезни и воздыхания. Эти болезни возникают в силу несчастного стечения обстоятельств. А свойства ума являются только лишь благоприятной почвой для их возникновения.[129]

Вот где кроется ошибка. И вот где истоки хулы, произнесенные разуму. Высокое сознание не является чем-то опасным. Даже для сверхчувствительного ума, склонного к фантазиям, вовсе не обязательны страдания и психоневрозы.

Есть множество примеров, когда высокая одаренность и даже гениальность вовсе не сопровождаются болезнями, безумием, неврозом. Напротив, мы наблюдаем в этих примерах абсолютное здоровье и норму во всех отношениях.

Абсолютное здоровье вовсе не лишает возможности быть творцом-художником. Напротив, абсолютное здоровье — это идеал для искусства. Только тогда искусство может быть полноценным. И таким, как оно должно быть. Правда, абсолютно здоровый человек может иной раз предпочесть реальную жизнь бесплодным фантазиям. Ему, пожалуй, будет некогда забивать свою голову придуманными персонажами. Он предпочтет, быть может, думать о живых людях, о подлинных чувствах. Он предоставит фантазировать людям, кои и без того мыкаются среди своих фантазий, не умея в полной мере реализовать свои чувства в силу своих страхов и заторможений.

Вот почему мы чаще видим искусство и болезни в опасной близости.

И вот почему могло показаться, что искусство есть достояние нездоровых, безумных людей и подчас — кретинов.

Вовсе нет! Но именно эти неполноценные люди заподозрили, что разум несет беду. Именно они объявили горе уму.

Они, быть может, не ошиблись в отношении себя. Но они единицы. Они не должны были бы свои невзгоды приписывать всем людям, которые слишком далеки от подобных бедствий.

Здесь кроется обычная ошибка философов, литераторов, поэтов. Свои чувства и домыслы они нередко отождествляют с чувствами «всего человечества».

Л. Н. Толстой считал, что «непротивление злу» спасает людей от множества бед. Быть может, это спасало Толстого. Но эта идея была абсолютно чуждой людям.

В русском народе Гончаров увидел Обломовых. Быть может, обломовщина была характерна для писателя, но она отнюдь не характеризовала русский народ.

Бальзак в своем романе «Шагреневая кожа» утверждал мысль, будто жизнь гаснет и укорачивается с каждым возникшим желанием.

Страшась своих чувств и желаний, Бальзак предложил всем страшиться их, пугая непокорных смертью.

Это была вопиющая ошибка.

Напротив, человеческая жизнь горит тем ярче и тем длительней, чем меньше болезненных препятствий для этого горения. Человеческий организм — это не ведро с драгоценными соками, которые можно расплескать, растерять, растратить от многих столкновений с жизнью. Это «ведро» наполняется по мере расхода. Однако оно пустеет, если вовсе не расходовать его содержимого.

Эта ошибка запутала многих и многих людей.

Это были ошибки против общества, против физиологии, против логики. В них мы усматриваем логику не полностью здоровых, а иной раз и вовсе больных людей.

И в свете этих, весьма заметных, ошибок становится понятной философская ошибка Достоевского, который сказал:

«Слишком высокое сознание и даже всякое сознание — болезнь».[130]

Достоевский не был здоровым человеком. Его жена оставила запись о своем первом впечатлении о нем:

«Я видела перед собой человека страшно несчастного, убитого, замученного. Он имел вид человека, у которого сегодня-вчера умер кто-либо из близких сердцу, человека, которого поразила какая-нибудь страшная беда».[131]

Можно допустить, что болезненное состояние его (эпилепсия), несомненно, ухудшалось от непомерной умственной работы. И, вероятно, это позволило писателю сделать столь крайний вывод.

Однако нам кажется, что не работа, а сложный «ответ», комплекс «ответов» на внешние раздражители способствовал его состоянию.

Быть может, и в этой моей книге кто-либо усмотрит ошибку, подобную тем, о которых я сейчас говорю. Но ведь я утверждаю только то, что относится лично ко мне и отчасти к людям искусства. А то, что относится к людям иных профессий и занятий, я отнюдь не утверждаю. Я только делаю предположение.

XI. РАЗУМ ПОБЕЖДАЕТ СМЕРТЬ

Близок вой похоронных труб.

Смутен вздох охладевших губ…[132]

1

В одном из юношеских писем Гоголя есть удивительная и печальная фраза:

«Я разгадывал науку веселой и счастливой жизни, удивлялся, как люди, жадные счастья, немедленно убегают от него, встретившись с ним…»[133]

Значит, Гоголь видел не только свое собственное «немедленное бегство от счастья», он также видел и бегство других.

Куда же бежали эти люди? В каких краях они находили себе спасение от той химеры, какую они создали себе? Они бежали в те края, какие вовсе не спасали их. Они бежали в края болезней, в края безумия, смерти.

Они бежали в эти края, чтоб именно этими крайними средствами спастись от ужасов и страхов, от бед и волнений, в сущности даже не осознанных ими.

Значит, они бежали и к смерти? Разве в смерти можно видеть облегчение? Разве страх смерти меньше того неосознанного страха, который держит человека в своих руках?

Ведь мы знаем, какой силы этот страх, какое иной раз безумие вселяет в человека мысль о смерти. И тем не менее мы видим многие примеры, когда стремятся к смерти, добиваются ее, видя в ней спасение, выход, облегчение.

Как же «примирить» эти два столь крайних полюса? Нет сомнения, их можно примирить, если взглянуть, что происходит за порогом сознания.

Ребенок (и животное) не знает, что такое смерть. Он может видеть в этом исчезновение, уход, отсутствие. Но сущность смерти ему еще неясна. Это понятие входит вместе с развитием ума. В низших этажах психики смерть, видимо, не рассматривается как акт, наиболее страшный (вернее, «опасный») из всех актов человеческого состояния.

В 1926 году, когда катастрофа была для меня слишком близкой, когда противоречия и конфликты ужаснули меня и я не находил выхода, я увидел странный сон.

Я увидел, что в мою комнату входит Есенин, который только недавно умер, повесился. Он входит в комнату, потирая руки, счастливый, довольный, веселый, с румянцем на щеках. Я в жизни никогда его таким не видел. Улыбаясь, он присаживается на кровать, на которой я лежу. Наклоняется ко мне, чтобы что-то сказать.

Содрогаясь, я проснулся. Подумал: «Он явился за мной. Все кончено. Я, вероятно, умру».

Но вот шли годы. Я позабыл об этом ночном инциденте. И только теперь, вспоминая все, что было, припомнил этот сон. И тотчас понял, что он обозначал для меня в то время. Ведь он обозначал: посмотри, как мне теперь хорошо, взгляни, какой я теперь счастливый, здоровый, беззаботный. Милый друг, поступи, как я, и ты будешь в безопасности от тех ужасных бед, которые нас с тобой раздирали.

Вот что обозначал этот сон, угодливо подсунутый мне обитателями низшего этажа, которые страшатся опасностей значительно, видимо, больше, чем страшатся смерти, ибо не понимают, что это такое, вернее, они не понимают ее так, как мы понимаем ее разумом.

Не этим ли объясняются многие нелепые смерти — от чепухи, от вздора, от незначительных болезней. Не в этом ли кроется одна из причин иных самоубийств, столь похожих на поспешное бегство, на бегство животного.

Такого рода самоубийства инфантильны в высшей степени. За этим стремлением к смерти слишком заметен «неосознанный» детский страх перед сомнительной опасностью, перед сомнительным конфликтом.

Патологический характер этого стремления несомненен. И мы еще раз убеждаемся в том, что контроль разума необходим.

2

Но, может быть, вмешательство разума излишне в иных случаях, в тех случаях, какие можно назвать нормальными?

Нет, мне кажется, что и в этих случаях контроль разума необходим.

В самом деле. Какие чувства мы испытываем, когда видим смерть? Что происходит в нашей психике, в нашем «высшем этаже», когда мы «лицезреем» смерть?

Большинство людей испытывает страх, тоску и даже ужас.

А правильно ли это хотя бы с точки зрения продолжения жизни? Нет, это абсолютно неправильно, опасно и даже губительно.

Тут я вынужден более обстоятельно говорить о смерти — о том состоянии, которое в человеческой жизни более неизбежно, чем какое-либо иное состояние.

Мне кажется, что разговор об этом не противоречит принципам социалистического реализма. При величайшем оптимизме социалистический реализм отнюдь не закрывает глаза на все, что происходит вокруг. И ханжески не отдаляет решений по тем вопросам, какие надлежит решить.

Отношение к смерти — это одна из величайших проблем, с какой непременно сталкивается человек в своей жизни. Однако эта проблема не только не разрешена (в литературе, в искусстве, в философии), по она даже мало продумана. Решение ее предоставлено каждому человеку в отдельности. А ум человеческий слаб, пуглив. Он откладывает этот вопрос до последних дней, когда решать уже поздно. И тем более поздно бороться. Поздно сожалеть, что мысли о смерти застали врасплох.

Один немецкий антифашистский писатель рассказал мне удивительный случай. Друг этого писателя попал в застенок. Его там пытали. Но он выдержал пытку. А когда он столкнулся с тем, что он должен был умереть, — душа его дрогнула. Мысль о смерти впервые пришла к нему. Она застала его врасплох, когда он был слаб и измучен. Эта мысль так его устрашила, что он отказался от своей идеи, чтоб спасти свою шкуру. Из тюрьмы он прислал покаянное письмо, с отчаянием разъясняя, что с ним случилось.

Рассказывая об этом случае, писатель сказал мне:

— Я раньше думал, что вопросы смерти мы должны предоставить писателям старого мира. Нет, мы должны писать о смерти. Мы должны думать об этом вопросе не меньше, чем люди думают о любви.

Это несомненно так. И вы сейчас увидите почему.

3

Почти все мемуаристы, говоря о Гоголе, отметили в нем страх и даже ужас к смерти.

А П. Анненков пишет, что «лицезрение смерти ему было невыносимо».[134]

Гоголь не был, конечно, здоров, но все же он был в удовлетворительном еще состоянии, когда однажды он близко столкнулся со смертью. Умерла сестра поэта Языкова, с которой Гоголь был дружен. Уже на первой панихиде Гоголь почувствовал себя ужасно. Он был потрясен и поражен этой смертью. Сам факт смерти так на него подействовал, что это заметили все окружающие.

Доктор Тарасенков пишет:

«Смерть ее не столько поразила мужа и родных, как поразила Гоголя… Он, может быть, впервые здесь видел смерть лицом к лицу…»[135]

Видимо, это замечание современника Гоголя было правильным. Нет сомнения, Гоголь видел смерть, но здесь он, быть может, впервые понастоящему задумался о ней. И тогда, как он сам признался своему духовнику, на него «напал страх смерти».

Уже на первой панихиде, вглядываясь в лицо умершей, он (по словам А. С. Хомякова[136]) сказал:

«Все для меня кончено…»[137]

И действительно, с этого дня Гоголь был в постоянном расстройстве. И, вероятно, думая о смерти и о прожитой жизни, он однажды сказал:

«Все чушь, все ерунда…»

Он заболел. По словам П. А. Кулиша,[138] он заболел «той самой болезнью, от которой умер отец его, — именно, что на него нашел страх смерти…».[139]

Через несколько недель Гоголь умер.

Мы описывали его конец. Это была смерть без борьбы, это была безропотная смерть, стремление к смерти. Страх присутствовал в чувствах. Он ускорял и приближал развязку. Он действовал в той губительной степени, какая была замечена окружающими.

Но ведь подобный страх испытывал не один только Гоголь. Его испытывают многие люди, большинство.

Об этом страхе и даже ужасе перед фактом смерти нам подряд сообщают — история, мемуары, письма.

Потемкин — фаворит Екатерины — буквально «выл от страха смерти». Современники писали о нем:

«Малодушный страх и ужас смерти обуял его, он стал хандрить и тосковать».[140]

Императрица Елизавета Петровна «ужаснулась смертью»[141] и даже стала пить, чтоб рассеять страшные мысли об этом.

Царь Михаил Федорович, задумавшись о конце, «впал в неподвижность» и умер «от многого сиденья, холодного питья и меланхолии, сиречь кручины».[142]

Смерть ужасала людей. И люди высокого ума и высокого таланта в не меньшей степени поддавались этому страху.

Сестра композитора Глинки пишет:

«Он так боялся смерти, что до смешного ограждал себя от всяких малостей…»[143]

Тоска раздирала Мопассана, когда он писал:

«Что бы мы ни делали, все равно придется умирать. Во что бы мы ни верили, к чему бы ни стремились, мы все-таки должны умереть… Чувствуешь себя раздавленным тяжестью сознания…»[144]

Л. Н. Толстой, ужасаясь, писал:

«Сорок лет работы, муки и успехов для того, чтоб понять, что ничто не существует и от меня останутся только гниль да черви…»[145]

Толстой впоследствии изменил свое отношение к смерти, и эта запись его нам тем более интересна, хотя бы для сравнения, которое мы сделаем ниже.

Устрашенный смертью, Блок писал, желая, должно быть, скорей увидеть финал:

Когда ж конец? Назойливые звуки

Не станет сил без отдыха внимать.

Как страшно все! Как дико! — Дай мне руку,

Товарищ, друг! Забудемся опять…[146]

Итак, мы видим, что страх в непомерной степени присутствует при столкновении со смертью, даже при мысли о ней.

Причем мы видим, что этот страх обескураживает людей, делает их покорными, робкими, беспомощными. Он обезоруживает и делает их еще более податливыми смерти.

Как сказано у Шекспира:

…страх смерть влечет,

Но смерти мы покорные рабы

От страха к ней, отдавшись без борьбы…[147]

Это есть точные и верные слова. Страх лишает возможности бороться. Он ускоряет гибель. Быстрей, стремительней ведет к концу.

Заставая же нас врасплох или в болезненном состоянии, страх тем более беспощаден. Именно он более, чем что другое, «влечет нас к смерти».

Это отлично знают люди, которые были на войне. Я помню (в ту войну), солдаты, усмехаясь, говорили: «Пуля найдет труса». И это в самом деле так. Ибо устрашенный человек поступает неразумно, бестолково. Он тычется как слепой, без учета обстановки. Страх парализует его, лишает гибкости, сопротивления. Такой человек делается физически слабым, беспомощным, суетливым. И тогда пуля скорей находит его.

И это в одинаковой мере относится и к условиям обычной, мирной жизни. Устрашенные, трусливые люди погибают скорей. Страх лишает их возможности руководить собой.

Значит, и в этих случаях, так сказать — «в норме», разум должен прийти на помощь. Он должен уничтожить страх.

4

Да, но как это делается? Легко сказать: не надо бояться смерти. Извольте уговорить человека, что смерть не так страшна. Не поверит. Поднимет на смех. И будет, пожалуй, еще больше страшиться своего конца.

Какой же путь находит разум для того, чтоб уничтожить страх, для того, чтоб не страшиться смерти? А он находит его. Мы убеждаемся в этом на многочисленных примерах абсолютного бесстрашия, удивительного мужества и на тех примерах, которые говорят нам о презрительном отношении к смерти, пренебрежении к ней.

Здесь нет нужды вспоминать прошлое. Мы видим это на многих примерах наших дней.

Можно вспомнить хогя бы комсомольца Александра Матросова, который своим телом прикрыл вражеский лулемет. Он сделал это сознательно. Он пренебрег собой. Страх перед смертью исчез, когда возникло желание помочь товарищам, спасти их, добиться победы.

Один офицер Красной Армии рассказал мне не менее поразительный случай, который произошел в этом году.

В землянке, в блиндаже находилось двенадцать офицеров и два телефониста. Один из офицеров, вытаскивая из кармана платок, случайно выронил на пол ручную гранату. Граната зашипела. Дверь землянки была закрыта. И не имелось возможности тотчас выбросить эту гранату.

Как поступил этот советский офицер? Только несколько секунд оставалось ему для размышления. Он упал на эту гранату. Прикрыл ее своим животом. И она, взорвавшись, буквально уничтожила этого офицера. Причем ни один человек в землянке больше не пострадал. Весь удар и все осколки офицер принял на себя.

Он спас товарищей. Страх перед смертью был ничтожен в сравнении с тем чувством, которое было в сердце этого замечательного человека.

Нет сомнения, таких фактов можно найти немало из истории прошлого и из истории наших дней.

Эти факты говорят о том, что разум, идеи и высокие чувства нередко побеждают страх.

Но ведь мы, говоря о страхе смерти, имели главным образом в виду не исключительные случаи, не те случаи, когда смерть была необходимой для достижения высокой цели. Мы имели в виду не героическую смерть, а смерть обычную, так сказать, повседневную.

Среди случаев этой обычной смерти мы хотели увидеть бесстрашие к ней. По этим примерам мы хотели узнать, как поступал разум этих людей для того, чтобы уничтожить страх.

Такие примеры бесстрашного и мужественного отношения к смерти мы находим в большом количестве.

Ломоносов писал перед смертью:

«Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют…»[148]

Своему другу по Академии (Штелину[149]) он сказал:

«Я вижу, что должен умереть, и спокойно и равнодушно смотрю на смерть. Жалею только, что не мог я совершить все то, что предпринял для пользы отечества, для приращения наук и для славы Академии».[150]

Мужественно и просто умирал Суворов. Уже на смертном ложе он, улыбнувшись, спросил Державина — какую эпитафию тот напишет на его могиле.

Наполеоновский министр, знаменитый Талейран,[151] один из умнейших (как мне кажется) людей, писал:

«Я понемногу слабею и знаю, как все это может кончиться. Я этим не огорчаюсь и не боюсь этого. Мое дело кончено. Я насадил деревья, я выстроил дом, я наделал много и других глупостей. Не время ли кончить».[152]

Л. Н. Толстой (по словам Гусева[153]) сказал:

«Почти чувствую возможность радостно умереть».[154]

Репин за несколько месяцев до смерти писал (К. И. Чуковскому):

«Пожалуйста, не подумайте, что я в дурном настроении по случаю наступающей смерти. Напротив, я весел… Прежде всего я не бросил искусств. Все мои последние мысли о нем… Больше полугода я работаю над картиной «Гопак». Такая досада: не удастся кончить…»[155]

Далее Репин пишет:

«В моем саду никаких реформ. Скоро буду копать могилу. Жаль, собственноручно не могу. Не хватит моих ничтожных сил, да и не знаю, разрешат ли…»

Таких примеров спокойного и даже деловитого отношения к смерти можно привести немало.

Однако как же поступали эти люди, чтоб уничтожить страх? Что для этого они делали? Как они добились бесстрашия?

Одна история, с которой я когда-то столкнулся, подсказала мне решение этого вопроса.

Много лет назад, возвращаясь с охоты, я зашел в крестьянскую избу. Я зашел, чтобы выпить кружку молока.

В сенях я увидел крест. Обычный березовый крест, который устанавливается на могилах. Видимо, кто-то умер в этой избе. И вот приготовлен крест для покойника.

Я было хотел уйти, считая, что я зашел сюда не ко времени. Но вдруг открылась дверь избы, и какой-то человек, весьма немолодой, босой и в розовых портках, предложил мне войти в дом.

Выпив кружку молока, я спросил хозяина, кто именно здесь умер и где покойник.

Хозяин, усмехнувшись в бороду, сказал:

— Никто не умирал. И нет покойника. Что касается креста, то это я для себя его приготовил.

Вид у хозяина был далеко не предсмертный. Глаза его светились весело. Походка была твердая. И даже на пухлых щеках его играл румянец.

Посмеявшись, я спросил, зачем понадобилась ему такая торопливость.

Снова усмехнувшись, хозяин ответил:

— Так. Был исключительный момент. Но потом он миновал.

Когда, попрощавшись, я снова вышел в сени, хозяин, похлопав ладонью по кресту, сказал:

— А знаешь, милый человек, когда сей крест мною приготовлен? Семнадцать лет назад.

— Тогда хворал, что ли?

— Зачем хворал. Маленько испужался смерти. И сделал себе крест в напоминание. И можете себе представить, привык к нему.

— И страха теперь нет?

— И страха нет. И смерти нет. В другой раз интересуюсь умереть — нет, не идет, проклятая. В свою очередь, должно быть, испугалась моего характера…

И вот, вспоминая эту историйку, я с точностью понял, в чем заключалась борьба этого человека со своим страхом. Она заключалась в привычке. В привычке относиться к смерти как к чему-то обычному, естественному, обязательному. Мысль о смерти перестала быть случайной, неожиданной. Привычка к этой мысли уничтожила страх.

Мы говорили о том, как Гоголя ужаснула смерть. Окружающие увидели эту реакцию. По словам В. С. Аксаковой,[156] окружающие, желая переменить строй мыслей Гоголя, заговорили «о возможности с малых лет воспитать так ребенка, чтоб смерть не была для него нечаянностью».[157]

Вот это отсутствие «нечаянности» — вот это и есть основной мотив борьбы со страхом.

Нет сомнения, люди, столь спокойно относящиеся к смерти, заблаговременно о ней думали. Мысль о ней не являлась для них неожиданной.

Они видели в смерти естественное событие, закономерность все время обновляющейся жизни. Они привыкли думать о ней как об обычном конце. И поэтому умирали так, как должен умирать человек, а не животное — без растерянности, без паники, с деловым спокойствием. И это придавало их жизни какую-то величавость, даже торжественность.

Такое разумное отношение к смерти, быть может, даже удлиняло жизнь этих людей, ибо в их жизни отсутствовал основной противник — животный, не всегда осознанный страх.

5

Привычка думать о смерти как о чем-то обычном, естественном уничтожает страх. Однако эта привычка может создать некоторые даже крайности, пожалуй, ненужные в этом деле.

Мы находим примеры слишком уж спокойного и даже отчасти любовного, нежного отношения к смерти. Это уж, я бы сказал, совершенно ни к чему.

Случаи такого крайнего отношения не лишены, впрочем, комичности и хотя бы по этой причине допустимы в человеческой жизни.

Известный библиотекарь Эрмитажа (конец XVIII в.) И. Ф. Лужков, по словам современников, с необыкновенной любовью и рвением относился ко всяким похоронным делам. Почти ежедневно он присутствовал на отпевании совершенно незнакомых ему покойников. Он бесплатно рыл могилы для бедных. До старости любил писать эпитафии. И проводил на кладбище иной раз целые дни.

Не довольствуясь этим, он построил себе домик рядом с Охтинским кладбищем. И окна его домика выходили на кладбище, как иной раз выходят в сад.

Лужкову принадлежит нижеследующая эпитафия, высеченная на надгробной плите одного своего родственника:

«Паша, где ты? — Здеся. — А Ваня? — Подалее немного.

А Катя? — Осталась в суетах».

Таким же отношением к жизни — как к суете — ненужной и, в сущности, рядом с величием смерти лишней — прославился еще один человек. Это был отставной вице-губернатор Шевелев (сороковые годы прошлого столетия).

Тот специально узнавал у гробовщиков, где имеются покойники, и, прихватив с собой подушку, шел по адресам. И там, где ему понравилось, он с разрешения хозяев оставался на 2–3 дня. Причем принимал самое деятельное участие во всей суете. Обмывал покойников, снаряжал их в последний путь и по ночам читал над ними то, что полагалось.

Лично для себя он задолго до смерти заказал гроб с какой-то особой прорезью для глаз. Конечно, такая прорезь особых выгод покойнику не давала. Сквозь эту прорезь покойник мог видеть самую малость. А его самого уже вовсе не было видать. Поэтому Шевелев вовремя спохватился. И велел увеличить прорезь до размеров своего лица.

Причем куплено было какое-то «толстое морское стекло», каковое и было приспособлено к гробу. Получилось весьма мило. Сквозь стекло можно было любоваться покойником, не подымая крышку гроба.

Однако смерть не торопилась приходить за этим любителем захоронений. Гроб несколько лет простоял в его кабинете. И многие гости, «любопытствуя, влезали в него», чтоб посмотреть, какая панорама раскрывается перед ними сквозь стекло окошечка.

Не без улыбок, вероятно, хоронили этого господина. Должно быть, сквозь стекло забавно было видеть серьезное вдумчивое лицо покойника, сказавшего новое слово в деле захоронения людей, и деле спасения их от мирской суеты.

Вот это отношение к жизни как к какой-то напрасной суете — вот это и есть та крайняя степень, какая весьма характерна для людей, слишком привыкших к мыслям о смерти. Должно быть, и в этом деле требуется некоторая осторожность и разумная мера.

Впрочем, возможно, что возвышенный похоронный стиль требует упоминания, что жизнь — суета. Возможно, что это говорится просто так, для красного словца и, так сказать, для поднятия морального духа среди покойников.

Видимо, это так, судя по эпитафии, каковая до последнего времени красовалась на Смоленском кладбище:

Что на поверхности земли?

Мирская суета, невзгоды, гам.

Супруга милая, словам внемли:

Здесь отдых, а не там.

Подлец какой. Уговаривает, что отдых здесь, а самого с поверхности земли небось калачами сюда не заманишь.

Видимо, все это пишется просто так, по традиции, по требованию сердца к возвышенным словам.

Так или иначе и сквозь эти крайности видна некая разумность в отношении к смерти — привычка относиться к ней как к закономерному, естественному концу.

XII. РАЗУМ ПОБЕЖДАЕТ СТРАДАНИЯ

Чем свод небес прозрачней и ясней,

Тем кажутся нам безобразней тучи,

Летящие по синеве его…[158]

1

Как много и какие тяжкие страдания иной раз испытывают люди.

Они испытывают эти страдания чуть ли не при всех обстоятельствах горемычной человеческой жизни, чуть ли не на каждом перекрестке их пути.

Эти страдания происходят и от физических причин, и от причин, лежащих в глубинах психики, и от причин внешних, которые иной раз с немалой силой влияют на ту сложную сумму дел и поступков, какая именуется человеческой жизнью.

Эти страдания нередко сопровождаются страхом.

Страх довершает картину жизни.

Страх усиливает страдания, разоружает людей и нередко, как мы видели, влечет их к смерти.

Однако разум побеждает страх. Разум находит пути к счастью. Разум создает науку — науку достойной и справедливой человеческой жизни.

Вооруженные этой наукой, люди научились и учатся ломать препятствия на своих путях, учатся создавать иные, более лучшие, более достойные условия для своего существования.

И, борясь на этих путях, люди шаг за шагом оттесняют страхи, какие непрерывно владеют ими.

Так, например, в нашей социалистической стране люди избавились от основного страха, связанного с поисками работы, а стало быть, и питания. И в этом отношении у нас нет людей, которые страшились бы за свою судьбу. (Я, конечно, не беру в расчет военные годы, когда людям пришлось испытывать неслыханные страдания, и в том числе некоторым людям — голод.)

Разум научился освобождать людей от многих физических страданий. Наука борется с этими страданиями с той энергией, которая достойна удивления, радости и наших надежд.

Наука изучила многие из этих страданий. Она изучила механизмы этих страданий. И к многим из этих механизмов были найдены ключи.

Однако еще не полностью подобраны ключи к тем сложным интимным механизмам, какие возникают в глубине нашей психики и действуют на нас, как мы видели, в столь непомерной степени.

Не без робости я попробовал подобрать эти ключи. Ну что ж, если люди скажут, что эти ключи не подходят к их, быть может, изощренным механизмам, то я и примирюсь на этом, уйду, как слесарь, который, поковыряв замок, так и не открыл его в силу своей малой квалификации или по причине вчерашней выпивки.

В общем, не знаю, как для других дверей, а для моих дверей ключи подходят.

Разум избавил меня от многих страданий.

Кто с разумом рассматривает природу, сказал один философ, на того и природа взирает разумно.

2

Иные люди, не зная, откуда берутся страдания, согласны примириться с ними. И они мирятся, ссылаясь на бога и провидение. И даже, быть может в силу своих характеров, пробуют гордиться этим. Мы знаем, как страдание было возвышено в искусстве, в литературе, в живописи.

Мы помним, какие возвышенные слова произносили литераторы, говоря о том, что страдания облагораживают людей, очищают их, поднимают на высшую ступень добродетели.

Печальное и трагикомическое зрелище — видеть таких страдальцев, кои вместо борьбы предлагают людям кичиться болячками.

Должно быть, месяца за два до своей смерти Алексей Максимович Горький прислал мне удивительное письмо.

Это письмо я называю удивительным, потому что это необыкновенное, мужественное письмо о страдании. И написано оно Горьким, когда страдания его были велики.

Вот что писал Горький:

«…Эх, Михаил Михайлович, как хорошо было бы, если бы Вы дали в такой же форме[159] книгу на тему о страдании. Никогда и никто еще не решался осмеять страдание, которое для множества людей было и остается любимой их профессией. Никогда еще и ни у кого страдание не вызывало чувства брезгливости.

Освященное религией «страдающего бога», оно играло в истории роль «первой скрипки», лейтмотив основной мелодии жизни… Но в то время, когда «простые люди» боролись против его засилия, хотя бы тем, что заставляли страдать друг друга, тем, что бежали от него в пустыни, в монастыри, в «чужие края», литераторы, прозаики и стихотворцы, углубляли, расширяли его «универсализм», невзирая на то, что даже самому страдающему богу страдание опротивело и он взмолился: «Отче, пронеси мимо меня чашу сию».

Страдание — позор мира, и надобно его ненавидеть для того, чтоб истребить…

…Высмеять профессиональных страдальцев — вот хорошее дело, дорогой Михаил Михайлович. Высмеять всех, кого идиотские мелочи и неудобства личной жизни настраивают враждебно к миру.

Вы можете сделать это. Вы отлично сделали бы эту работу. Мне кажется, что вы для нее и созданы. В ней и — осторожно — идете, слишком осторожно, пожалуй!..»

И вот, перечитывая этот отрывок письма Горького, я вновь поражаюсь его словам. И тому, что Горький сумел найти эти слова, страдая сам. И тому, что он с такой точностью понял, чем я был тогда озабочен. Именно этими вопросами я тогда был занят, собирая первые материалы для этой моей книги, первоначально названной «Ключами счастья».

Я написал было ответ, однако не послал его, так как я узнал, что Горькому хуже. Я не хотел тревожить его, больного.

В этом ответе я писал, что именно такая книга у меня намечена. Однако (писал я) в этой книге я бы хотел не только высмеять страдальцев, но и найти хотя бы некоторые причины страданий для того, чтоб понять, откуда возникают эти страдания.

Первый экземпляр моей книги я обещал прислать Горькому.

Как больно и как печально, что Горького нет. Я мысленно посвящаю ему эту мою книгу.

3

Разум побеждает страдания. Но «страдальцы» отнюдь не хотят сдавать своих позиций.

Именно они объявили горе разуму и стали опасаться его, решив, что все страдания происходят от него и ни от чего больше.

Чем же, однако, разум так не угодил, чем рассердил и разгневал страдальцев?

Некоторые причины мы нашли, по которым разум и даже будущее его подверглось сомнению.

Мы развенчали эти сомнения по мере своих слабых сил.

Однако, быть может, мы что-нибудь еще пропустили? Может быть, мы не учли что-нибудь такое, исключительное, из-за чего разум можно бесспорно признать неполезным или виновным в людских страданиях?

Как будто бы нет. Я мысленно просматриваю все, что относится к людям, все, что составляет их жизнь, — далекие путешествия, свидания друзей, работу, любовные встречи, искусство поваров и кухарок, беседы в жактах, речи защитников и прокуроров, спектакли в театрах, хлопоты в учреждениях…

Нет, решительно нет! Разум не приносит страданий. В любом из этих дел разум не является лишним. Напротив. Наоборот. Боже мой! Какие счастливые надежды зажглись бы в наших сердцах, если б высокий разум присутствовал на каждом шагу, при каждой малости, при каждом вздохе.

Может быть, впрочем, имеется подозрение, что любовные мотивы при наличии высокого разума звучат заглушение и тем самым приносят людям меланхолию и печаль?

Нет. Как будто бы нет. Все нормально.

Что же тогда остается? Потеря такой, что ли, птичьей легкости, потеря непосредственности барана? Но это уж не настолько приносит страдания людям, чтоб отказаться от разума.

Извольте выслушать одну небольшую историю, по которой вы увидите, что и в этой области разум в конечном счете одерживает верх.

Однажды Флоберу сделали операцию. У него был какой-то нарыв на щеке.

По этому поводу Флобер пишет своей возлюбленной (Луизе Колэ[160]) меланхолическое письмецо о том, какие несчастные создания люди — подвергаются непрестанному процессу порчи и гниения.

Вот в каких неосмотрительных выражениях Флобер пишет:

«Как будто недостаточно всей той гнили и заразы, что предшествует нашему рождению и ожидает нас после смерти… Сегодня теряешь зуб, завтра волос, открывается рана, назревает нарыв… Прибавь к этому мозоли на ногах, естественные дурные запахи, секреции всякого вида и вкуса — все это дает необычайно заманчивую картину человеческой особи. И подумать только, что это любят!..»[161]

Нет, конечно, так нельзя было писать. Тем более женщине, которую любишь. Тут надо было обуздать свое высокое сознание. Не умничать. Попридержать себя. В крайнем случае извиниться, если разум увлек тебя в такие дали и ты произнес лишнее.

Впрочем, и дама, имея разум, не должна была бы сердиться настолько, как она рассердилась.

Мы не знаем, в каких именно словах возлюбленная ответила Флоберу, но, судя по его письму, слова ее были весьма и весьма неприятные.

Вот что писал Флобер, оправдываясь и не понимая своей вины:

«Раньше я казался вам возвышенным — теперь кажусь жалким… Что же я сделал, боже мой, что? Вы утверждаете, что я обращаюсь с вами, как с женщиной последнего сорта… Я не понимаю ваших обид и ссор…»

Нет, все кончилось хорошо. Флобер примирился со своей возлюбленной. Так что в этом отношении разум восторжествовал и высокое сознание указало, как надлежало поступить.

Дама вновь расцвела и продолжала считать Флобера возвышенным. И маленькая любовная история, в которой присутствовал разум и отсутствовала непосредственность, была забыта.

Нет, я решительно не вижу причин страшиться высокого разума. Как видите, даже в этих делах все обходится вполне удовлетворительно и без особых страданий.

4

Страдание — позор мира, и надобно его ненавидеть, чтоб истребить.

Так сказал Горький. И я целиком разделяю его мнение. Чтоб истребить страдание, существует наука. Она сделала немало. Но впереди предстоит сделать еще больше. Огромный и светлый путь лежит впереди.

Быть может, найдены будут многие и многие ключи, открывающие самые тайные механизмы страданий. Быть может, найдены будут еще и иные причины страданий, те, о которых мы еще не знаем.

Быть может, даже будет раскрыто то, что сейчас весьма занимает науку, — вопросы излучения.

Только лишь робкие шаги наука сделала в этой области. И нет сомнения, разум поднимет завесу над тем, что скрыто от нас еще в большей степени, чем было скрыто в тайных механизмах больших полушарий.

Быть может, и в этой области найдены будут некоторые причины страданий, от которых можно освободиться.

Все живое излучает. Вот что без слишком большой уверенности найдено современной наукой. Все живые ткани способны излучать энергию, близкую своими свойствами электричеству.

Были найдены разного рода лучи и разного рода токи.

Первоначально возникло мнение, что эти лучи возникают только лишь в силу химической реакции, которая происходит в крови. Так, например, было найдено, что кровь лягушки выделяет ультрафиолетовые лучи.

Подобное излучение было обнаружено и у животных и у человека.

Было замечено, что кровь больных (скажем, больных саркомой, раком) не излучает. Старость и дряхлость излучает в малой степени.

Затем было найдено, что излучает не только кровь, излучают — мышцы, мозг, кожа, нервы…

Было найдено, что мозг излучает электромагнитные волны. И эти волны вполне улавливаются антенной. И что эти весьма ощутимые волны создаются движением электронов, летящих со скоростью света.

Оказалось, что сложный мозг человека, имеющий бесчисленное количество клеток (свыше 12 миллиардов), способен принимать и удерживать огромное количество электронов. Во всяком случае, оказалось, что мозг является, видимо, центром сложной электрической цепи.

Было найдено, что расстроенная мозговая деятельность проявляется особой формой и особой частотой волн. Иными словами, величина и напряжение тока меняются в зависимости от состояния мозга.

Мозг истериков, невротиков, эпилептиков в иных случаях создает токи, во много раз превышающие норму. Это в одинаковой мере относится и к некоторым видам психических болезней.

Лучи, возникающие в тканях живых организмов, названы были митогенетическими лучами. Это открытие имело обширную литературу, однако судьба этого открытия мне не полностью известна — я слышал, что эти лучи будто бы взяты под сомнение. Не был доказан характер (и происхождение) этих весьма слабых, малоинтенсивных лучей.

Однако судьба этого открытия не меняет дела. Наличие в нашем организме токов и всякого рода излучений не оставляет сомнения. Еще значительно раньше этого открытия было известно, что некоторые животные, в особенности глубоководные, обладают свойством излучения. Известно, например, что морской скат оглушает свою добычу весьма сильным электрическим ударом (до 80 вольт).

Было известно, что и люди являются носителями некой электрической энергии.

Знаменитый художник Ван-Гог в своем письме пишет о Гогене:

«Зачастую наши беседы оживлялись исключительно сильным электрическим флюидом. Иногда же мы кончали беседу с усталыми головами, как электрические батареи после разрядки».[162]

Видимо, открытие биотоков и всякого рода излучений живого организма не является чем-то новым.

Эти излучения, эти токи есть, видимо, нечто бесспорное, неотделимое от всего, что живет.

Это свойство живых тканей не противоречит общему принципу, найденному и в отношении всех тел. Было найдено, что в основе строения атомов лежит сложный электрический заряд.

Причем это относится к атомам[163] любого вещества.

Стало быть, вещество является носителем сложных электрических зарядов.[164]

И, стало быть, электрический заряд есть в каком-то счете основной состав материи, это есть, видимо, первичный материал, из которого создан мир.

Наука не вполне знает, что такое электричество и сколько имеется видов этой энергии.

Однако многие соотношения в этой области известны.

Одно из самых элементарных соотношений — это то, что электрический ток любого порядка вызывает вокруг провода, по которому он идет, магнитные силы. И всякое изменение электрического поля сопровождается возникновением магнитных полей.

И принцип этот в одинаковой мере относится к токам любого свойства.

Стало быть, любые излучения есть электромагнитные излучения.

Это относится и к свету, и к теплу, и к радио, и, видимо, к биотокам, ибо виды этой энергии возникают с помощью электромагнитных волн.

Эти электромагнитные волны распространяются лучеобразно, подобно тому, как на поверхности воды распространяются волны от упавшего камня.

Если это так, то должно существовать и влияние электромагнитных волн на окружающую материю.

Стало быть, мозг человека, находящийся в сложной электрической цепи и в сложных электрических отношениях, несомненно, испытывает разнообразнейшие влияния.

Можно смело сказать, что мозг не является чем-то обособленным, каким-то единым изолированным хозяйством. Он не огражден от всякого рода влияний. Он не замкнут в себе. Это противоречило бы элементарным принципам.

Мы знаем, что деятельность больших полушарий характеризуется двумя основными процессами — возбуждением и торможением.

Стало быть, если говорить о каких-либо влияниях извне, то эти явления в первую очередь отнесутся именно к этим процессам. И если действительно аппарат нашего мозга не замкнут в себе, то влияния извне могут сказаться на том или ином изменении этих процессов. Причем эти изменения, видимо, могут последовать как в соответствии с внутренними импульсами, так и вопреки им.

Во всяком случае, если допустить, что влияние извне имеется хотя бы в самой малой степени, то процессы возбуждения и торможения не протекают только лишь от единых внутренних причин, замкнутых в человеческом теле.

Другой вопрос — какой силы эти влияния и каково происхождение этих влияний.

Такого рода вопрос наука решить пока не сумела. И далее предположений, иной раз весьма сомнительных, не пошла.

Однако и в нашу задачу не входит решение этого вопроса. В нашу задачу входит только лишь сделать предположение о наличии этих влияний и возможных последствий этого на деятельность больших полушарий мозга.

Мне кажется, что сомнений нет — влияние извне имеется. Известен опыт, произведенный А. Гурвичем.[165] Ученый доказал, что две луковицы, посаженные рядом, влияют друг на друга. Короткие ультрафиолетовые лучи, возникающие в одной луковице, способствуют и вызывают усиленное деление живой клетки в соседней луковице.

Во всяком случае, если эти луковицы отделить друг от друга пластинкой, не пропускающей ультрафиолетовые лучи, то рост этих луковиц замедляется и значительно ослабляется процесс деления клетки. Стало быть, эти лучи являются ближайшей причиной клеточного деления. И, стало быть, такого рода влияние извне на живые ткани бесспорно.

Видимо, бесспорно, что все живые вещества в той или иной степени оказывают влияние друг на друга. Видимо, не только мозг находится в сложной цепи электрических отношений, видимо, весь организм животного не есть нечто локализованное в своем едином хозяйстве.

Целый ряд такого рода влияний извне мы знаем на практике жизни. Мы знаем хотя бы то, что крайняя степень неврастении, психической угнетенности неблагоприятно действует на окружающих. Окружающие в свою очередь начинают в какой-то мере испытывать подобную угнетенность. Иной раз даже незнакомый человек, вошедший в комнату, влияет неблагоприятно — окружающие начинают чувствовать какую-то «неловкость», скованность, начинают чувствовать, что им «не по себе».

Такого рода примеры подтверждают, что влияние извне имеется. И что влияния эти в первую очередь сказываются на процессах торможения, происходящих в мозгу.

Если это так, если существует влияние, если мозг человека улавливает излучения, возникающие извне, то как отражаются эти внешние колебания на человеческой психике? Какое значение имеет этот внешний «фон» для поведения человека?

Нам кажется, что не следует преуменьшать значения этих влияний. В какой бы малой степени они ни были, они играют роль в психической жизни.

Допустим, что мозг человека начал испытывать весьма сильное влияние и оно выразилось в усиленном торможении. Не зная, почему возникла эта заторможенность, человек непременно постарается мотивировать эту свою угнетенность какой-либо материальной или нравственной причиной.

На здоровой психике человека такая случайная, иной раз фальшивая мотивировка не отразится сколь-нибудь существенно. Заторможенность уйдет, и мотивировка забудется. Однако для психики нездоровой (в особенности при случаях психоневроза) такая неверная мотивировка весьма существенна, ибо причина угнетенности будет разыскиваться среди тех «больных» предметов, среди тех объектов устрашения, с какими произошли «столкновения». Тем самым эти «больные» предметы еще в большей степени будут утверждены в психике как предметы опасные. Иными словами, ложные доказательства опасности утвердятся.

Нет сомнения, эти вопросы весьма нелегко поддаются анализу, и предположения здесь следует делать весьма осмотрительно, однако принцип соотношений уже можно увидеть.

Все эти вопросы — вопросы дальнейших поисков науки.

Что касается силы внешних влияний и происхождения их, то эти вопросы тем более не поддаются еще учету.

В науке не раз высказывались предположения о космических влияниях, о влияниях солнца и звезд на органическую жизнь земли. Вопросы эти древнего происхождения. И наука прошлого не раз склонялась к решениям, по которым организм животного рассматривался как микрокосмос.

Во всяком случае, современная наука вовсе не отвергает значение тех излучений и той энергии, какие получает извне наша планета.

Были открыты так называемые космические лучи. Они представляют собой поток огромной силы и состоят из электрических зарядов, которые бомбардируют нашу Землю. Падая на границу нашей атмосферы, они способны деформироваться, способны превращаться в иные силы.[166]

Энергия этих электрических зарядов чрезвычайно велика, однако, падая на нашу Землю, заряды эти весьма ослабляются в своей энергии.

Во всяком случае, наука ведет огромную работу по изучению интенсивности этих излучений. В свое время этим был занят погибший при аварии стратостата И. Усыскин.[167] Им были проделаны измерения до 22 километров. Установлено, что на высоте 5 километров интенсивность излучения в 6 раз превышает интенсивность на уровне моря. На высоте же 10 километров эта интенсивность лучей в 40 раз больше, чем на уровне моря.

Стало быть, энергия лучей, проходящих атмосферу, чрезвычайно снижается. Видимо, влияние этих лучей не столь существенно, как иной раз предполагается теми, кто хочет снизить значение человеческой жизни и человеческого разума.

Во всяком случае, будущая наука решит вопросы о силе этого влияния и о значении этого влияния на психику и поведение человека. И если окажется, что влияние это сколько-нибудь имеет значение и тем самым люди испытывают некоторые страдания, о которых они не знают, разум человека и в этой области принесет освобождение.

XIII. РАЗУМ ПОБЕЖДАЕТ СТАРОСТЬ

Но старость, черт ее дери,

с котомкой и клюкой

Стучит, вот черт ее дери,

костлявою рукой.[168]

1

Однажды я шел с моим другом по улице, беседуя с ним о старости.

Мой друг склонялся к тому, что старость не так уж отвратительна, как многие думают. Он напомнил мне слова Л. Толстого о старости:

«Я никогда не думал, что старость так привлекательна».[169]

Я спорил с моим другом. В то время я не без страха взирал на людей, которые гаснут, дряхлеют, превращаются в жалкую рухлядь.

Я спорил с моим другом, доказывая ему, что старость есть нечто ужасное, даже ужаснее, нежели смерть. Это есть потеря и ослабление чувств, желаний, намерений. Что может быть хуже!

У меня тогда были неверные мысли о старости, и вот почему я так спорил.

Когда мы, беседуя, свернули с Невского на Фонтанку, произошел несчастный случай. Мой друг оступился, упал, и проходивший грузовик слегка задел его. Ранение было не слишком велико. Оно выразилось в царапинах щеки и уха. Однако верхняя губа оказалась изрядно рассеченной.

Я вызвал карету «скорой помощи» и отвез моего стонущего друга в больницу. И там тотчас его положили на стол, чтобы зашить рассеченную губу.

Я присутствовал при этой операции, крепко сжимая руку своего товарища, который страшно нервничал и стонал.

Перед тем как приступить к операции, хирург (молодая женщина) обратилась с вопросом ко мне, так как у пострадавшего необычайно вспухла губа и он не «мог бы ответить. Женщина-хирург спросила:

— Сколько лет вашему знакомому?

Я не знал. Пожал плечами. Сказал:

— Какое это имеет значение. Скорей делайте операцию — видите, в каком он состоянии… Вероятно, ему лет за сорок.

Женщина-хирург, тоже пожав плечами, сказала:

— Это имеет не маленькое значение. Если ему меньше сорока-пятидесяти лет — я сделаю ему пластическую операцию. А если пятьдесят, так я… так зашью… Нет, все будет хорошо и как полагается, но уже, конечно… не то, что… как бывает при пластической операции.

Тут пострадавший, услышав эти слова, застонал и заметался на столе. Рассеченная его губа не позволила ему вступить в пререкания с врачом. Подняв руку, он выкинул четыре пальца и, потрясая ими, как бы говорил — только сорок, только, черт возьми, сорок, делайте пластическую операцию. Слегка поломавшись, женщина-врач приступила к пластической операции.

Нет, губа была зашита порядочно, шрам был невелик, но моральное потрясение еще долго сказывалось на моем друге. Он позабыл о том, что его задела машина, его потрясение было в ином — он не мог позабыть слова хирурга о пятидесятилетних людях, которым можно зашивать губы так, как иной раз зашивают матрацы, стегая грубой ниткой через край.

Вот эта душевная боль моего стареющего друга осталась у него надолго. Эта боль осталась и у меня. И о старости я стал думать еще хуже, чем я до сих пор думал.

И решил с ней бороться.

2

Нет, я никогда не мечтал жить долго, никогда не хотел жить до ста лет. Я не видел в этом прелести или удовольствия.

Но я бы хотел жить так, чтоб не особенно стареть, чтоб не знать жалкой слабости, дряхлости, уныния. Я бы хотел до конца своих дней быть сравнительно молодым. То есть таким, который не потерял бы в битвах с жизнью некоторую свежесть чувств. Вот это примирило бы меня со старостью. Я не стал бы так гнушаться этих предстоящих лет. Я бы ожидал мою старость не столь озлобленно и не с таким отвращением, какое было в моем сердце.

Но как это сделать? — думал я. Как поступить мне, чтобы объятия старости не были бы для меня слишком чувствительны? Что нужно сделать для того, чтобы в старости чувствовать себя здоровым, цветущим, сравнительно молодым, если не юным?

Неужели человеческий разум не придет на помощь в этом весьма законном желании?

И вот тогда я стал присматриваться ко всем старикам. Из них я выбирал себе таких, у которых были яркие щеки, твердая походка, гладкая кожа, крепкие руки, гибкие ноги и молодые, сияющие глаза.

Я не столь часто находил таких стариков, но, когда находил, не выпускал их из вида. Я следил за ними, присматривался к их жизни, к их поведению, к их привычкам.

Я хотел, наблюдая за ними, вывести какоенибудь правило, по которому не угасает молодость.

Я не мог вывести такого правила, ибо каждый из этих стариков жил по-разному, по-своему, не придерживаясь каких-либо норм.

Я стал расспрашивать многих цветущих стариков об их секретах. И они охотно мне отвечали.

Впрочем, каждый из них говорил по-разному, каждый имел свои особенности и свои мотивировки, по которым он считал, что его жизнь продолжает цвести.

Один старик, которому было 70 лет, так ответил мне:

— Я никогда не курил. Табак изнашивает наши ткани. И вот, быть может, причина, отчего я молод.

Другой старик, которому было не меньше лет, сказал:

— Табак не влиял на меня в дурную сторону. Но я всегда занимался спортом, физкультурой. Спал при открытом окне. Вот что, вероятно, подействовало на меня благоприятно.

Третий замечательный и даже великолепный старик, юношески бодрый и свежий (а это был Бернард Шоу), ответил мне на одном обеде, который давали в его честь. Усмехаясь, писатель сказал:

— Вот уже тридцать пять лет я не ем мяса. Не найдете ли вы в этом обстоятельстве причины моей молодости?

Нет, в этом обстоятельстве я не нашел причину молодости 75-летнего старика.

Я тем более не имел этой причины, ибо рядом со мной сидел другой 70-летний старик (а это был Ф. Кон[170]), который сказал:

— Я всю жизнь ем мясо. И тем не менее здоров и бодр. Причины в ином — я работаю, работа меня увлекает, я точен и аккуратен в работе, как часы. И вот, быть может, тот секрет, который вы ищете.

Еще один старик (весьма выдающийся деятель искусства М.) сказал:

— Причина моей молодости — работа, вдохновение. Вот откуда я черпаю мою сравнительную свежесть. Но зато когда работа кончена — я выдуваюсь, как резиновая свинка, которой прокололи бок.

Еще один замечательный старик (а это был народный артист Ю.) сказал:

— Видите ли в чем дело — я много ем, много работаю, я все делаю — много, я ни в чем себя не ограничиваю. Не запрещаю себе ничего из того, что мне хочется. И знаю, когда я начну себя ограничивать, когда начну бояться, когда страх проникнет в мое сердце — тогда я погиб. Тогда и жизнь и молодость закончатся одновременно.

Мне очень понравился этот ответ. Но это правило было не для меня — я не привык много есть и не привык исполнять все мои желания. И не намерен был изменять своим привычкам. Однако вторую часть ответа я признал справедливой.

Еще один человек, которому было 70 лет, а выглядел он сорокалетним (это был датский писатель М.-А. Некое), ответил мне, взглянув на свою молодую жену:

— Я люблю.

Смутившись, жена этого человека сказала:

— Нет, нет, не только это. Мой муж любит свою литературную работу. Он много работает. И вот причина, которую вы ищете.

Еще один цветущий старик, которому на вид было 40, а на самом деле ему было 63 года (это был поэт Ц.), сказал мне, тяжко вздохнув:

— Я молод оттого, что ем помидоры, клюкву и морковь. Но что толку в том.

И тут, продолжая тяжко вздыхать, поэт рассказал мне маленькую историйку, случившуюся с ним. В него влюбилась молодая девушка-студентка Н. Она однажды осталась у него. Они были счастливы. Наутро, когда поэт вышел в коридор, девушка, сидя перед зеркалом, случайно увидела паспорт, его паспорт, который лежал на столе.

Когда поэт вернулся в комнату, он застал девушку в слезах.

Сквозь рыдания она сказала:

— Боже мой! Я не знала, что вам столько лет. Я бы никогда не пришла к вам. Боже мой, как я низко пала.

Я утешил поэта, сказав, что девушка глупа. И вот почему она так сказала. Однако мое сердце сжалось. Но потом утешилось, когда я подумал, что я ищу молодость вовсе не для любовных встреч. А если они и будут происходить, то паспорт можно будет прятать.

Еще один старик, от которого пахло винным перегаром, сказал мне:

— Только вино поддерживало мои силы. Только вино давало мне бодрость, молодость и, если хотите, юность.

Я внимательно взглянул на этого старика. Нет, это была не молодость и не юность. Разбухшее лицо. Красные слезящиеся глаза и дрожащие руки говорили об ином. Они говорили об эпитафии, которой надлежало бы увековечить скорую кончину старика:

Здесь покоится жалкое тело,

Разлученное с жалкой душой![171]

В общем, я расспрашивал еще многих и многих стариков. И все они отвечали по-разному. Все они находили свои правила, годные им, но, быть может, не совсем пригодные другим людям.

Однако некоторые их правила были полезны для меня, и я ими воспользовался. Тем не менее молодость ускользала от меня даже в мои 30 лет.

И тогда я стал думать о таком правиле, которое надлежало мне найти для своих надобностей, для своей жизни, для своих свойств.

И вот мне показалось, что я нашел это правило и что оно пригодно для меня в высшей степени.

Я имел в виду то, о чем я пишу в этой книге.

Я имел в виду контроль, который я в дальнейшем установил для того, чтобы освободить мой разум и мое тело от низших сил, от их страхов и ужасов, от их действия, каковые выражались в бессмысленной, дикой, ошибочной обороне перед тем, перед чем обороняться не следовало.

И вот в силу этого мой разум и мое тело стали свободными от множества препятствий и бед. И от страданий, какие я покорно сносил, полагая, что это так и должно быть.

И это мне дает надежду, что старость не коснется меня в столь ужасной степени, какую мы иной раз наблюдаем.

ЭПИЛОГ

Сознание — это такая вещь,

которую люди приобретут —

хотят они этого или нет.[172]

1

И вот моя книга подходит к концу.

Что остается еще сказать? Сказано немало. Остается добавить, как это полагается в финалах, о судьбе героев.

Основной герой — это отчасти я, отчасти та страдающая личность, ради которой и было предпринято мое сочинение.

Обо мне, пожалуй, все сказано, что можно было сказать.

Юношеские мои годы были окрашены черной краской, меланхолия и тоска сжимали меня в своих объятиях. Образ нищего преследовал меня на каждом шагу. Тигры подходили к моей кровати, даже когда я не спал. Рев этих тигров, удары и выстрелы довершили картину моей печальной жизни.

И куда бы я ни обратил свой смущенный взор — всюду я видел одно и то же.

Гибель ожидала меня в любой момент моей жизни.

Я не захотел погибнуть столь плачевным образом.

Я захотел изменить свою несчастную судьбу.

Я предпринял атаку против тех врагов, каких я обнаружил путем следственного розыска.

Этих врагов оказалось немало.

Среди них один — неосознанный страх — был обращен в бегство вместе со своим коварным оборонным оружием.

Другие мои враги сдались на милость победителя.

Некоторые из них были мной уничтожены. Другие были закованы в кандалы и брошены в свою прежнюю темницу.

Я вышел победителем. Я стал иным после этой победы. Мало сказать иным — возникла новая жизнь, совершенно непохожая на то, что было раньше, на то, что было 15 лет назад.

Временами противник делал попытки вернуть свои позиции. Однако мой разум контролировал все его действия, и эти попытки прекратились.

2

Значит, победа принадлежит разуму, сознанию?

Но разве этот контроль, постоянная бдительность, настороженный взор не приносит, в свою очередь, огорчений, несчастий, тоски?

Нет. Этот контроль, эта бдительность и настороженность были нужны только лишь во время сражений. В дальнейшем я обходился без этого и жил почти добродушно, как живет большинство.

Но разве от этих битв не пострадало мое ремесло художника? Разве победивший разум не изгнал вместе с врагами то, что мне было дорого, — искусство?

Нет. Напротив. Моя рука стала тверже. И голос звонче. И песни веселей. Я не потерял мое искусство. И тому порукой мои книги за последние десять-двенадцать лет. Тому порукой эта моя книга. Она написана во многих жанрах. И жанр художника здесь, смею надеяться, не самый слабый.

Значит, подобный контроль над низшими силами можно осуществлять без всякого вреда для себя?

Да. Но такой контроль надлежит делать людям, умеющим профессионально мыслить, умеющим анализировать. Такой контроль необходимо произвести только лишь с помощью врача. Я остерегал читателя от дилетантских попыток, приводя в пример первые свои поражения.

Я знаю, что имеется немало противников, кои выступают и будут выступать, понося этот метод контроля, да и сам контроль.

Что лежит в этом протесте и какие доводы приводят противники?

Некоторые из них считают, что такой контроль неосуществим. А если и осуществим, то это и не контроль вовсе, а нечто вроде самогипноза.

Это, конечно, вздор. Элементы самогипноза отсутствуют. А если иной раз и возникают, то от них нет вреда.

Иные противники считают, что подобный контроль и весь процесс анализа доступен только лишь немногим. Дескать, это наука для немногих, она, дескать, не массового характера, как метод для излечения.

Ну что ж. И болезнь, связанная с психикой, относится весьма к немногим. Эта болезнь также не носит массового характера. И, стало быть, мотив противника неоснователен. Есть и еще довод у противников. Заторможенность, говорят они, есть в некотором роде биологическая необходимость. Если возникает заторможенность (пусть и патологического характера), то она возникает оттого, что этого требует тот или иной неполноценный организм, неполноценный от рождения. Такая заторможенность есть, в некотором роде, норма. С ней надлежит примириться. Как и надлежит примириться с тоской и меланхолией. Ибо счастье человечества не в свободной воле и не в свободном разуме. Счастье — в тех тисках, которые ограничивают людей в их желаниях.

Эти мотивы обычно приводят те люди, которые страшатся заглянуть в самих себя, те люди, которых сжимают страхи, сжимают низшие силы, не позволяя им поднять свою голову, чтоб увидеть мир, освещенный ослепительным солнцем.

Именно об этих людях сказано у поэта:

О, горе! Бежать от блеска солнца

И услады искать в тюрьме, при свете ночника…

Эти люди согласны провести свою жизнь при свете ночника, только чтоб не потревожить своих страхов.

Каждая страница моей книги будет вызывать у таких людей лихорадку.

Уже я слышу визгливые их голоса. Когда-то один человек, неглупый, но крайне скованный, сжатый неосознанным страхом, почти уничтоженный им в его личной жизни, писал мне:

«Не думайте, что я вылечился от неврастении, я только изобрел способ… Неврастения состоит в тоске (главным образом). Значит, надо ассимилировать в себе тоску. Вот и весь способ. Я внушил себе, что это состояние неизбежно и что к нему надо привыкнуть».

Вы понимаете, что сказал этот человек? Он сказал, что к тоске нужно привыкнуть. Не изгнать ее, не уничтожить, не исследовать причины этой тоски, а привыкнуть к ней, полюбить ее.

Какие рабские чувства! Какое раболепство перед страхом! Как явственно видны причины протеста.

Такого рода примеры протестующих «страдальцев» еще более убеждают меня, что контроль разума необходим.

В 1936 году я получил одно ужасное письмо. Крестьянин (Воронежской области) из мести зарубил топором семью своего соседа. У соседей была давняя ссора, и вот этот крестьянин, охваченный бешеным чувством ненависти, наконец совершил свое кровавое преступление.

Этого человека, естественно, приговорили к высшей мере. Находясь в камере, этот малограмотный человек читал книги, и среди них повстречался с моей книгой «Возвращенная молодость».

Я не знаю, что понял этот человек, прочитав мою книгу, но одну идею он уразумел. Он понял, что человек может и должен руководить собой.

Пораженный этой простой мыслью, преступник написал мне письмо о том, что если б он знал об этом — он не совершил бы своего преступления. Но он не знал, что можно управлять своими чувствами.

Это необыкновенное письмо я опубликовал (в 1941 году) в «Ленинградском альманахе». Сейчас у меня нет под рукой этого письма. Но это письмо следовало бы прочитать. Оно написано малограмотной рукой. Но мысли в этом письме так ясны и так страшны, что я сосчитал своей обязанностью навязывать людям свои мысли о необходимости руководить собой, о необходимости управлять своими чувствами.

Не дело, чтоб низшие силы одерживали верх. Должен побеждать разум.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Итак, книга закончена.

Последние строчки этой книги я дописываю в октябре 1943 года.

Я сижу за столом в своем номере на десятом этаже гостиницы «Москва».

Только что по радио сообщили о разгроме немецких войск на Днепре. Наши доблестные войска форсировали Днепр. И вот теперь гонят противника дальше.

Итак, черная армия, армия фашизма, армия мрака и реакции, пятится назад.

Какие счастливые и радостные слова! Впрочем, иначе и не могло быть. Не могло быть, чтоб победили люди, выступившие против всего, что дорого народам, — против свободы, против разума — за рабство, за звериный вой вместо человеческой речи.

Наша доблестная Красная Армия гонит и уничтожает противника, черные мысли которого стали еще черней.

Ночь. Передо мной листы моих рукописей.

Я перелистываю их и вношу последние поправки.

Сквозь занавешенные окна пробивается рассвет.

Я открываю дверь и выхожу на балкон.

Холодное октябрьское утро. Тишина. Москва еще спит. Улицы пустынны и безлюдны.

Но вот где-то на востоке розовеет небо. Наступает утро. Лязгая железом, проходит первый трамвай. Улица заполняется народом.

Холодно.

Я возвращаюсь в свой номер. Собираю разбросанные листы моей законченной книги. Мысленно прощаюсь с ней. Восемь лет эта книга была в моей голове. Восемь лет я думал о ней почти ежедневно. Восемь лет — это не маленькая часть человеческой жизни!

Мне приходят на ум прощальные стихи. Нет, я, быть может, произнесу их когда-нибудь в дальнейшем, когда буду прощаться не с этой книгой и не с восемью годами моей жизни, а со всей жизнью.

Это стихи греческого поэта:

Вот что прекрасней всего из того, что я в мире оставил:

Первое — солнечный свет, второе — спокойные звезды

С месяцем, третье — яблоки, спелые дыни и груши…[173]

Впрочем, к звездам и к месяцу я совершенно равнодушен. Звезды и месяц я заменю чем-нибудь, более для меня привлекательным. Эти стихи я произнесу так:

Вот что прекрасней всего из того, что я в мире оставил:

Первое — солнечный свет, второе — искусство и разум…

А уж на третьем месте можно будет перечислить что-нибудь из фруктов — спелые груши, арбузы и дыни…

ПРИМЕЧАНИЯПеред восходом солнца. — Октябрь.- 1943.- № 6, 7, 8, 9 (1–6 части); Звезда.- 1972.- № 3 (7-13 части), под названием «Повесть о разуме». Печ. по тексту: Зощенко М. М. Собр. соч. — Т. 3. — Л.: Худож. лит., 1986–1987.

В своем решении публиковать «Перед восходом солнца» редакция журнала «Октябрь» исходила не только из собственного единодушного ее одобрения, но и опиралась на положительные отзывы литературоведов и ученых, в частности академика А. Д. Сперанского, считавшего, что книга Зощенко «написана в соответствии с данными современной науки и заслуживает печати и внимания». Кроме того, редакции было известно, что в июне 1943 года Зощенко вызвали в ЦК ВКП(б) и предложили продолжить работу над книгой, уже написанная часть которой получила высокую оценку со стороны авторитетных деятелей пауки и литературы. Однако сразу же после выхода в свет начальных глав книги появился ряд резких критических выступлений, в результате чего публикация повести «Перед восходом солнца» была прекращена.

25 ноября 1943 года Зощенко отправил письмо Сталину. Он писал:

«…Мне кажется несправедливым оценивать работу по первой ее половине, ибо в первой половине нет разрешения вопросам. Там приведен лишь материал, поставлены задачи и отчасти показан метод.

И только во второй половине развернута художественная и научная часть исследования, а также сделаны соответствующие выводы.

Дорогой Иосиф Виссарионович, я не посмел бы тревожить Вас, если бы не имел глубокого убеждения, что книга моя, доказывающая могущество разума и его торжество над низшими силами, нужна в наши дни.

Она может быть нужна и советской науке. И еще мне думается, что книга моя полезна людям как художественное произведение, ибо она осмеивает пошлость, лживость и безнравственность.

В силу этого беру на себя смелость просить Вас ознакомиться с моей работой либо дать распоряжение проверить ее более обстоятельно, чем это сделано критиками…»[174]

Далее следовало: в журнале «Большевик» (1944. № 2. — С. 56–58, авт. В. Горшков. Г. Ваулин. Л. Рутковскян, П. Цолыпаков) появилась статья «Об одной вредной повести», в которой произведение Зощенко было определено как клеветническое и пошлое, «сдобренное» к тому же «невежественными лженаучными рассуждениями об исследовании человеческой психики». М. Зощенко понял эту статью как ответ на свое письмо и дальнейших шагов для реабилитации «Перед восходом солнца» более не предпринимал.

Окончание книги было опубликовано уже после смерти писателя, почти через тридцать лет с момента выхода в свет ее первых частей. Редакция журнала «Звезда» публикуемый текст назвала «Повесть о разуме». Притом указание на то, что он является второй половиной повести «Перед восходом солнца», отсутствовало. Это же указание отсутствовало и в отдельном издании «Повести о разуме», напечатанном в 1976 году в издательстве «Советская Россия». Тем самым было как бы узаконено разделение единого произведения Зощенко на две самостоятельные книги.

Восстановление первоначального статуса повести «Перед восходом солнца» произошло в 1987 году с выходом третьего тома Собрания сочинений М. М. Зощенко.

При подготовке примечаний к настоящему изданию повести, которые носят справочно-библиографический характер, имелось в виду следующее.

Зощенко создавал «Перед восходом солнца» в необычной для себя обстановке. Привыкший работать в тиши своего ленинградского кабинета, он писал эту книгу в эвакуации — сначала в Алма-Ате, затем в Москве, куда был вызван ввиду назначения его соредактором журналя «Крокодил». Вынужденный отрыв от тщательно подобранных в рабочую библиотеку многочисленных материалов, откуда на протяжении нескольких предвоенных лет Зощенко делал необходимые для будущей книги выписки, а также нетерпеливые напоминания о сроках представления рукописи, постучавшие из журнала «Октябрь» (над заключительными страницами писателю приходилось сидеть по 16–18 часов в сутки), — все это в конечном итоге наложило свой отпечаток на текст повести. Речь идет о довольно обширных погрешностях при цитировании как научных, биографических, так и поэтических источников. Так, Зощенко нередко заменяет слова и целые фразы у цитируемых авторов своими, сокращает, а то и дописывает, переписывает на свой лад их изречения, строки из писем и пр. В некоторых случаях он закавычивает не авторский текст, а смысл тех или иных строк и абзацев, переводя их как бы в удобную для себя словесно-стилистическую форму. Короче говоря: есть все основании утверждать, что в трудно складывающихся для писателя обстоятельствах ему зачастую приходилось цитировать по памяти.

Исходя из этого, указания на неточности произведены лишь там, где автором допущены ошибки в датировке, написании имен и фамилий.